**Ветер и песок-2**

*Н.Б. Иванова*

**Роман с литературой в кратком изложении**

***1.***

Для открытия Года литературы 28 января (раньше, видимо, все отдыхали на затянувшихся зимних каникулах) писателей, издателей, руководителей крупных библиотек и музеев, литературных журналистов и, разумеется, чиновников (как минимум половина зала) собрали в Московском Художественном театре на торжественный вечер. Сначала всех и каждого (ну, разумеется, кроме некоторых, но я не среди них и не о них) должны были пропустить через две линии контроля. Вообразите: темнота и мороз на Камергерском, а у дверей МХТ толпа мастеров слова. Екатерина Юрьевна Гениева, не писатель, но выдающийся организатор, что сегодня, думаю, даже важнее, стоит в легкой шубке и без шапки (для красоты). Мария Веденяпина — тоже; дамы переминаются с ноги на ногу, развлекаясь и отвлекаясь шутками. (Как-то не очень по себе, оттого и нервно шутят.) Наконец первый контроль (по приглашениям) пройден, — благодаря нарядным по случаю праздника, приятно возбужденным и четко отслеживающим проход министерским чиновницам. И тут нас разделяют на два потока, по буквам «А — К» и «Л — Я». Я всегда знала, да оно известно, что на букву «К» существует гораздо больше русских фамилий, чем на другие. Проходим медленно — и уже через рамки (у меня всегда звенят серебряные бирюльки), и сумочку надо открыть под вежливо-бдительным взором ФСО. Теперь наконец можно — в тепле — почувствовать себя «выбранной из отобранного».

Таких «выбранных» немало — по числу кресел в партере, амфитеатре и на ярусах.

На совсем первом ряду вижу Андрея Битова, Никиту Михалкова и Александра Кабакова. Мое место — в восьмом, весьма привилегированном ряду, где широкий проход и можно вытянуть ноги. Не знаю, кто у меня справа, а слева — через Олесю Николаеву — усаживается мой однофамилец Сергей Иванов, глава президентской администрации, с ним рядом Наталья Дмитриевна Солженицына. Сзади Иванова, нависая над ним, — сидит Татьяна Устинова. Лицо вдохновенно счастливое… ведь в телекамеру могут попасть вместе!

Ждут известно кого — он, как всегда, *задерживается* (наш водитель Володя всегда говорит — начальство не опаздывает, начальство задерживается) ровно на пятьдесят пять минут: очевидно, между Кремлем и Камергерским большие пробки. Ноги врозь, краткая приветственная речь — и театр начинает подготовленный Мариной Брусникиной «Круг чтения».

Надо сказать, что почти все этот «Круг» потом ругали. За чтение стихов — либералы. За подбор «не тех» авторов — патриоты, написавшие целую вереницу возмущенных писем — отдельное письмо было организовано с подписями «национальных» поэтов. И наши патриоты собрали доносные письма в своих органах. Все как обычно, ничего неожиданного.

Куда податься со своим частным мнением? Что мхатовцы испокон веку плохо читали стихи? Что можно было лучше, не на живую нитку? Но Константин Богомолов прочитал Шаламова очень хорошо, а Александр Белый — фрагмент нобелевской речи Иосифа Бродского — просто отлично, умно и точно… Что стариков театра, читающих по бумажке, жалко? Что Михаил Пореченков, читающий лермонтовские стихи «Люблю Россию я, но странною любовью», истекает натужным пафосом; что артистке Пеговой надо бы навсегда запретить прикасаться к Ахматовой — слишком прет из нее животный оптимизм?.. Частное мнение критика интересует только самого критика и его ближайший круг; а так — поле размежевано: в зале сидят и те, кто подсчитывает процент поэтов нетитульной нации…

А у меня — в процессе исполнения — возник совсем другой недоуменный вопрос: куда дели Мандельштама? Почему забыли его, как Фирса? А ведь неплохо бы здесь, при наших-то делах, прозвучало: «Мы живем, под собою не чуя страны…».

***2.***

Год 1999.

Дело происходит не в Ленинграде — уже в Петербурге, в юбилейные дни Пушкина. Двести лет — срок, через который, Гоголь предсказал, как мы помним, в России появится человек пушкинского типа. Человек-Пушкин — не Пушкин-человек, а именно человек-Пушкин.

И вот начинается Пушкинский праздник. Народу понаехало видимо-невидимо, и не только свой брат-литературовед, что понятно — впереди юбилейная пушкинская конференция, и участники не только из России приглашены. На дворе, как вы понимаете, последний год правления Бориса Николаевича Ельцина. Денег, несмотря на близость кризисного 1998-го, власти на празднование не жалеют. Может быть, они, власти, этого самого Пушкина сто лет не читали, может быть, для них Пушкин — *птичка прыгает на ветке*, и представление о нем заканчивается дуэлью с Дантесом…

Прыгает — не прыгает, а денег много, и пригласили наряду с литературоведами живых, действующих писателей.

Собираемся утром-днем 6 июня в Таврическом дворце — именно в том зале, где заседала до всяких потрясений Государственная дума. Опытным путем выясняю, что депутаты сидели на полированных лавках, перед ними — парапет, на котором можно разложить бумаги и записывать приходящие мысли. Сейчас на лавках расположился цвет современной русской словесности в широком спектре — от Беллы Ахатовны Ахмадулиной до Дмитрия Александровича Пригова. Торжественное открытие Пушкинских дней заключается в том, что стихи Пушкина читают современные поэты. Поскольку — «...хоть один пиит…».

И вот уже Дмитрий Александрович Пригов в буддийской манере, как мантру, специфически гундося, пропевает первую строфу «Евгения Онегина». Часть собравшихся ликует, часть — возмущается. Вижу, как покраснел от возмущения Александр Семенович Кушнер. И тут же вспоминаю свое с ним посещение нью-йоркского МОМА — Музея современного искусства. Все было прекрасно, но, когда мы покинули любезные сердцу залы импрессионистов и оказались рядом с картиной Хоана Миро, не то что с абстракционистами, Александр Семенович задал мне риторический вопрос: неужели вы не видите, что все они — жулики?..

Во второй части дня нас ждет Пушкинская конференция — решено, что проходить она будет в том же терракотовом, с белыми колоннами, зале Таврического дворца. И вести (модерировать) часть конференции поручают мне.

Делать нечего. Забираюсь на самый верх и усаживаюсь в не очень удобное кресло председателя Государственной думы. Справа и слева от меня, на стенах, — крупные круглые циферблаты, стрелки отсчитывают часы и минуты. С докладами по пятнадцать минут поочередно выступают пушкинисты. Особым успехом пользуется все тот же Дмитрий Александрович, не только потому, что доклад его неожиданно уместен, но и потому, что умело стилизован, спародирован — выполнен в духе ученого литературоведения. И, наверное, литературоведы принимают его за своего.

Все или, вернее, почти все выступающие укладываются в отведенное время.

Ну если там одна-две минуты… для закругления мысли… записочкой останавливаю, «укорачиваю» выступающего.

И тут выходит — ее очередь — пылкая литературная дама. Энергично поднимается на трибуну с бумагами и будильником,  устанавливая его на край трибуны, так что он всем хорошо виден. Будильник старого образца — немаленький, со звонком-колокольчиком сверху. Дама начинает. Она говорит — и очень интересно — четверть часа. Потом еще пять минут, и речь ее отнюдь не стремится к завершению. Передаю записку — время истекло. Она не обращает на записку никакого внимания. Настенные часы неумолимо отсчитывают полчаса… тридцать пять минут… на новые записки, не поворачивая головы — ведь у меня еще есть время, не так ли? Зал ворчит. Сорок минут! Сорок пять! Наконец, мне приходит записка: «Караул устал. Матрос Железняк». Именно эти слова прозвучали в этом зале перед разгоном Думы. Читаю записку вслух. Выступление все-таки завершается.

Кто написал записку, становится ясно через минуту после того, как спустилась к публике, — признаётся в этом Станислав Лесневский. Стасик, всегда улыбающийся при встрече глазами, — и ему всегда хотелось улыбнуться в ответ.

А пылкая дама-шестидесятница и дальше будет вести себя аналогично. По крайней мере совсем недавно на одном литературном собрании я увидела у нее в руках новенький будильник: «Вот подарили!». Намекподарившего мне ясен.

Такое у нас понятие о демократии литературной, — демократия как нарушение регламента. Точно так же вел себя В. Кардин в новое, постперестроечное время: главное — объегорить редактора журнала, продолжив страничку машинописи вклейкой, — теперь не с содержанием (этого вроде в новое время не требовалось), а с объемом.

***3.***

В отечестве (в СССР) я с Иосифом Бродским знакома не была.

Увидела его впервые (и познакомилась с ним) уже в Америке, в Нью-Йорке, на его поэтическом вечере в Колумбийском университете. После поэтических чтений публика, и я вместе с нею, перешла через Бродвей в большой книжный магазин, где Бродский подписывал свою новую книгу. На английском, разумеется.

Два момента меня удивили.

Первый: зал, правда, немаленький, человек на триста, был неполон; билеты продавались долларов за семь. Вместе — поочередно — с Бродским читал свои стихи и переводы из Бродского Марк Стрэнд. Бродский был в любимых им коричнево-бежевых тонах: вельветовые брюки, твидовый пиджак, ботинки, мягкая рубашка — все переходило из оттенка в оттенок по одной цветовой гамме. Как был одет Стрэнд, выпало из памяти, — а Иосиф выглядел как совершенный американский профессор. (Позже я прочту у Эллендеи Проффер, что с самого начала, с появления в США, и еще до того, в Питере, он к такому внешнему образу стремился.) Когда он читал свои стихи по-русски, зал, наполовину эмигрантско-русский, замирал. (Американцы прислушивались к звучащей речи.) Но вот он начал читать из своих переводов любимой Цветаевой, а потом свои собственные английские стихи, — и тут в зале раздался смешок. Не насмешливый  смешок, извините за тавтологию, — а такой хороший, веселый смешок. Я только потом, позже, уточнив у сидевшей рядом Кати Непомнящей (которая в Колумбийском и училась, и защищалась, и работала), поняла, почему публика реагировала так: выросшая на верлибре, она воспринимает рифмованные стихи как детские. Как «гуси-гуси — га-га-га». Бродский, наверное, и сам это понял — и скомкал окончание чтения. Хотя, как известно все от той же Эллендеи, настаивал на ценности рифмы и в современной англоязычной поэзии.

В магазине, с купленной книгой и полагающимся к книге бокалом вина в руках, публика выстроилась в длинную очередь к поэту, похожему на профессора. Без никаких «гусей».

***4.***

Я пришла к поэту в гости уже в следующий свой приезд в Нью-Йорк. Позвонила ему по телефону.

Накануне я должна была пойти к Бродскому вместе с Петром Вайлем и Татьяной Толстой. Но упустила этот шанс — и все из-за американских поездов.

Накануне я была в Бостоне (уж не помню, зачем) и с Вайлем договорилась, что он подхватит меня около вокзала — по билету рассчитала время прибытия, машину в этом месте припарковать негде, остается только нареза€ть круги у вокзала.

И вот представьте.

В полдень сажусь в скорый поезд Бостон — Нью-Йорк, предвкушая удивительный вечер в прекрасной компании, и вдруг…

И вдруг начинается метель, да какая! В окнах поезда делается белым-бело — и поезд останавливается в чистом поле. Стоим полчаса, стоим час… По вагонам начинает ходить строгая проводница, объясняет, что и почему. Только не объявляет, когда же поезд тронется.

Он не трогается несколько часов.

Когда мы прибываем на вокзал, вечер уже переходит в настоящую ночь. И я понимаю, что упустила свой шанс. Поздно — но ничего не поделаешь — звоню Вайлю, который уже дома, после ужина с Бродским, веселый и размягченный.

На следующий день я пришла к дому на Мортон-стрит заранее, чтобы не опоздать (опять). Зашла в бар на углу, спросила кофе. Увидела, что посетители как-то странно на меня смотрят, будто со мною что-то не в порядке. Потом, по­сле, Иосиф объяснит: то, что рядом, — это гей-кафе. Ну ладно.

Сначала он познакомил меня с Марией и маленькой Анной — и повел на второй этаж, где работал в квартире своей соседки, Марии Воробьевой. Там я была представлена и кошке Миссисипи. Иосиф приготовил чай, достал из холодильника пирожные. Просидели часа три — он вспоминал поочередно своих друзей и знакомых, расспрашивал, а я рассказывала, чем сейчас каждый занят. И о возможной премии — за стихи — поговорили, помечтали (тогда еще ничего такого независимого, кроме премии «Русский Букер», у нас не существовало). Только Кушнера в жюри не возьмем, сказал он. А Уфлянда обязательно. Я не спросила — почему. Просто была в шоке — ведь кто как не Бродский приветствовал Кушнера в Америке и устно, и письменно!..

Он проводил меня на крыльцо, бережно запахнул шаль на пальто (было ветрено, ноябрь), сказал: «Берегите себя».

Потом я узнала, что это обычная американская прощалка.

Только эти слова прозвучали для меня по-русски совсем неожиданно.

***5.***

Американская вермонтщина случалась в моей жизни пару раз, и за эту пару раз я ей благодарна.

Во-первых, она необыкновенно красива, северная часть Америки. Там течет полноводная и быстрая река, в переводе называется Белая.

Там над автомобильной дорогой нависают гранитные скалы розового цвета, а горы — или высокие холмы? — покрыты густыми лесами. Едешь-едешь, и такое впечатление, что здесь не ступала нога человека — только прекрасное шоссе неизвестно откуда взялось, а с него — съезды на другие шоссе (выходы, exits).

Во-вторых, остаются обо всем этом замечательные воспоминания, скорее похожие на сон (может быть, потому, что тебя как раз подхватили после длиннющего авиаперелета), и этот сон хочется повторить. И он, представьте себе, на следующий год повторяется! И ты эти розовые скалы приветствуешь, как родные.

В Вермонте устраивают Русскую летнюю школу — в Норвичском университете. Я получила приглашение приехать туда на целый месяц. И я еду.

В летней школе закон: как только вступаешь на территорию университета, ни слова по-английски. Объясняйся на русском — даже если ты закончил всего два курса. И с утра — все занятия на русском, не только язык, это само собой, но и литература, и история, и география, и кино, и театр. А театр — особое дело (как и хор): театральное представление долго готовится для предстоящего в конце семестра финала, репетиции идут постоянно (я думаю, что специально затягиваясь — чтобы все лучше усвоили свои русские роли, и объясняет на репетиции пьесу режиссер). Режиссером был Сергей Коковкин, а в соседней русской школе, вМиддлбери, куда мы ездили в гости, — русскую пьесу ставил Веня Смехов, а его жена Галя Аксенова читала курс по истории советского кино (разумеется, с демонстрацией фильмов).

И вот я уже прибыла; и вот уже адаптировалась; и вот уже размеренно идут занятия, впереди — конференция для преподавателей. Здесь — Ефим Григорьевич Эткинд, читает курс о поэзии XIX века, сама бы послушала. После занятий все садятся по автомобилям и едут на озеро, купаться. Деревянные мостки, мягкая под ногами травка. И еще есть купанье в быстрой неглубокой речке. Туда надо идти лесочком, только осторожно, американский плющ ядовитый.

Прибывает в Вермонт Наум Коржавин, непосредственно на конференцию. Аня Родионова с дочкой Машей и пьесами… Свой особый мир.

А потом все вместе едем в гости к Сергею Давыдову, он — глава подобной же школы в Миддлбери, он — праправнук Дениса Давыдова, страшно на него похож, а по другой линии он — внук замечательного филолога Александра Бема. Показывает свою библиотеку — вот они, книги Бема. И как не закружиться голове?

Сергей везет — ведет? — нас на местное кладбище. Показывает удивительное надгробие: дата смерти — три тысячи лет тому назад. И рассказывает: один из жителей городка, будучи в Египте, приобрел по случаю мумию маленького фараончика и долго-долго хранил ее у себя в доме, на чердаке, пока на него не стукнули местному священнику религиозные соседи: хранит у себя для развлечения гостей незахороненный труп, разве это не кощунство? Пришлось американцу фараончика захоронить — через три с лишним тысячелетия после его кончины, — на христианском кладбище.

В Америке действительно есть всё. Всё — и даже больше, чем в Греции.

***6.***

Почему-то на поэтических вечерах всегда появляется какое-нибудь странное существо, мужчина (чаще всего) или женщина, одетый/ая в полуспортивный видавший виды свитер, вытянутые на коленях штанцы, обутый/ая в то, что раньше называлось «боты», или в «прощай, молодость», или в сандалии, если тепло и даже жарко. На голове у него/нее обязательно будет вязаная шапочка, добавляющая всему облику необходимую трогательность. Существо будет внимательно вслушиваться в журчащие подряд речи, расположившись в тепле и покое. Но вот что-то его/ее вдруг заденет, какую-то струну, существо встрепенется и задаст вопрос… или отпустит комментарий, на который и не знаешь что сказать. Приходят ниоткуда — и уходят в никуда.

А вдруг да и появится такой человек у тебя в редакционном кабинете — ведь мы ничем не загорожены, охраной не отделены. И вполне разумный, покажется сначала, — и даже очень умный, может быть, слишком умный человек, — не знаешь, что ему сказать. И не поймешь, что он просит, за чем (конкретно) приходил? Вот человек с исторической фамилией Энгельгардт ко мне заходил, еще когда редакция располагалась на Никольской, — и что-то важное сообщал, только я так и не поняла, что€ именно. Вот такой человек пришел и на вечер памяти Тани Бек. Уже десять лет пролетело, как ее нет с нами. Но я ведь помню, как к ней тянулись люди, в том числе именно такие, несчастные юроды. И кошка у нее была такая-никакая — ведь кошки бывают красивые и очень красивые, люди к ним привязываются и гордятся ими: посмотрите, какая у меня кошка!.. А кошка Тани была… ну обыкновенная кошка, дворовая, короткошерстная, с небольшой головкой, на вытянутых непородистых ногах. Но как Таня на нее смотрела! Есть фотография, и она излучает счастье. И фотография, и кошка, и Таня.

Более или менее благополучно живущие, наверное, боятся заразиться — и стараются вытеснить из своего сознания облик несчастья.

Так я до сих пор его помню — и его шапочку, и куртку, и обувку, и странно-потусторонние глаза. Зачем он появлялся, не знаю. Может быть, для того чтобы я его навсегда запомнила? Запомнила дух непоправимого несчастья, от него исходившего?

***7.***

В Принстон я приезжала с лекциями несколько раз и провела подряд месяц в роли visiting professor, приглашенного профессора. Ноябрь-декабрь, канун Рождества. В Принстоне спокойная теплая осень, и только большая нарядная елка на главной площади уютного университетского городка да повсеместная продажа подарков и игрушек напоминают о близящемся празднике.

Университетский кампус в Принстоне стилизует знаменитый британский «Оксбридж» — состаренный камень, полуготические окна двухэтажных зданий, плющ, небольшой храм — по-американски так бывает — без опознавательных знаков снаружи и внутри, годится для любой конфессии. Прорва белок — стоишь и не можешь сосчитать, они постоянно перемещаются.

В мои обязанности входило несколько лекций, постоянное общение с профессурой и консультация аспирантов (по дням и часам). В кабинете, мне предназначенном, окна были полуподвальные — так размещена славистика.

Я вошла в кабинет, закрыла за собой дверь и стала раскладывать бумаги.

Элен Чэнсез, автор первой монографии об Андрее Битове, профессор русской литературы, постучалась, открыла дверь и объяснила, что дверь всегда долж­на быть распахнута настежь.

Дело в том, что аспиранты могут подумать — я занята!

Это правило выработано на всякий случай: чтобы никаких обвинений… в домогательствах… никогда. Я засмеялась. Но с тех пор не закрываю и свою дверь в редакционном кабинете: пусть заходят авторы и сотрудники. Скрывать нечего.

А у сотрудников (в их кабинеты) двери почему-то всегда закрыты.

Они еще не были в Принстоне.

***8.***

Книги. Как много книг дома, в кабинете, у Пушкина (на Мойке, 12). Высокие шкафы, стеллажи, заполненные книгами снизу доверху. И становится понятно, как любовно он их собирал (и сколько собрал — всего к тридцати семи годам!), как они были ему дороги; и прощался он с ними, умирая: прощайте, друзья. Там же, в кабинете, обитый черной кожей диван, на котором он умирал (и на котором, думаю, прочитал много книг). А у Толстого в Ясной Поляне сохранился черный кожаный диван, на котором он родился. Кстати, книг и в Хамовниках, и в Ясной Поляне не так много, как у Пушкина… А у Пастернака их вообще мало. Небольшой открытый стеллаж — в кабинете. И книги только самые-самые: том Шекспира, том Данте, том Пушкина. Тщательно отобранные. Не надо заводить не только архива — не надо заводить библиотеки, вот о чем красноречиво свидетельствует этот стеллаж.

Мне с книгами уютно. Они дают чувство безопасности — странно, не правда ли. А без них я чувствую себя незащищенной. Они успокаивают. Если не знаешь чего-либо — не беда, они подскажут. Надо только знать, где эта книга. Когда их вокруг много, возникает ощущение, что нужные ответы на внезапно возникающие жизненные вопросы найдутся.

Но бывает и переизбыток — количество книг переходит какую-то грань, и найти что-нибудь уже никогда будет невозможно: так происходило в квартире у Кати Непомнящей, моей нью-йоркской подруги, увы, в этом году ушедшей.

Много книг окружало Анатолия Наумовича Рыбакова — в открытых стеллажах на сколоченных из толстых ошкуренных досок полках, в застекленных шкафах. А в его квартире на Бродвее книг было мало, очень мало, — одна длинная полка в гостиной. Но ему было уже не до книг: успеть бы написать то, что хочется. На «почитать» времени не было.

Книги — часть профессионального мозга, вынесенная наружу.

***9.***

Дача, где мы живем, находится на улице Довженко, неподалеку от музея Булата Окуджавы. По субботам сюда приезжает много народу. Город с его пылью и гарью остается где-то вдали, а здесь — благорастворение воздухов и тишина. Собираются по большей части все те же постаревшие шестидесятники, идут с просветленными лицами и немодными сумками со станции Мичуринец, а кто специально приехал пораньше и хочет прогуляться — со станции Переделкино; усаживаются рядком на сколоченных деревянных насестах под большим тентом, предусмотренным на случай дождя. И, конечно, осматривают сам дом, вернее, домик. Я со дня смерти Булата через порог не переступала. Но вот при жизни — бывала там. Булат жил на даче затворником, гостей не привечал, приглашала Ольга Владимировна — по особому случаю, на Пасху, например. Пекла замечательные, красивые, облитые глазурью куличи и куличики. И ими одаривала. Булат при этом исполнял роль любезного светского хозяина.

Беседующим всерьез помню его на веранде дачи Рыбакова. Они с Анатолием Наумовичем сидели наискосок друг от друга за темным деревянным столом, на скамьях. Рыбаков на него не то чтобы нападал — предъявлял ему аргументы. Спор шел о войне. Оба фронтовики; А.Н. был предан своим фронтовым друзьям-товарищам, война и память о ней были для него святыми; Булат дал какое-то интервью, в котором равнял оба режима, сталинский и гитлеровский, и не просто равнял, а равнял их и на время войны. Этого А.Н. стерпеть никак не мог. Оба сидели насупленные, если не враждебные. Объяснение выходило тягостным и неловким — Анатолий Наумович, во-первых, старше, во-вторых, разговор шел на его территории (преимущество, если кто не понимает). Больше я их вместе не видела — впрочем, не был ли это последний прилет из Нью-Йорка? 1996, кажется, год, — наверное, да.

***10.***

В Нью-Йорке Рыбаков на гонорары за свой самый настоящий мировой бест­селлер «Дети Арбата» приобрел квартиру на пятом этаже в новом доме на Бродвее. Бродвей длинный — дом стоял в самом его центре, на углу 67-й, вблизи Линкольн-центра, да и Центральный парк неподалеку, район роскошный. И дом прекрасный — со специальным подъездом, с огромным зеркальным холлом, с зеркальными лифтами. Послепеределкинской дачи совсем другая жизнь. Но не для Рыбакова. Он сидел и работал у себя в кабинете, точно как прежде. Жизнь шла строго по часам, так и только так был восстановлен ритм, обеспечивший А.Н. завидное рабочее долголетие.

Пару раз я у них с Татьяной Марковной останавливалась в свои приезды в Нью-Йорк на какие-нибудь встречи или конференции. По вечерам А.Н. читал главы из новой книги, которую писал, — «Роман-воспоминание». Это, конечно, была книга напоследок: доскажу то, что не успел (в «Детях Арбата» все пронизано автобиографизмом, все да не все), — повороты биографии, писатель­ская среда, — что и как происходило. Память была прекрасная, но то, что Рыбаков всегда держал за достоинство своей прозы (лаконизм), в воспоминаниях, где важнее всего подробности, играло против него. Слишком жестко. Маловато деталей. Так мне казалось. Жизнь его, конечно, была богаче на них — и объемнее. Но он хотел, не кружа вокруг, идти вперед — и побыстрее. И, видимо, это была правильная тактика, — он успел и дописать, и подержать в руках эту свою последнюю книгу.

***11.***

На русском отделении, летом, в каникулы, была обязательная практика: для «литературоведов» — фольклорная экспедиция, для «лингвистов» — диалектологическая. Экспедиции отправлялись на север — Вологодская область на границе с Архангельской. А там уже, на месте, — добирались рейсовым автобусом до какого-нибудь медвежьего угла, откуда, собственно, экспедиция и начиналась. Разбивались по двое, смысл такой: песни, частушки и т.п. записываем поочередно по строчке, четная — нечетная, сказки — по фразам. Чтобы не останавливать процесс. Брали с собой какую-то нехитрую одежонку, останавливались в школах или конторах (спали на полу), обедали по столовым, если таковые были, завтрак и ужин (каша, картошка, купленное у крестьян молоко и ряженка) готовили дежурные по очереди. Надо было подняться нисвет ни заря, когда стадо выгоняют, и идти по договоренности. Такой ряженки, золотисто-розового цвета — и ложка в ней стояла, — я не пробовала никогда в жизни. Было очень здорово — во всех смыслах этого слова, — только иногда почему-то нападали клопы, хотя откуда им взяться в школе… Но не в этом дело. Дело в том, что деревенские бабки все время норовили нам спеть песню или рассказать сказку, услышанную по радио. И раскачать их до совсем старого, от бабушек слышанного, было очень трудно — хотя иногда получалось, вот радости-то было.

А то так: скажем-скажем, но приходите с чекушкой.

Шли в магазин за чекушкой — Нина Ивановна Савушкина, наш руководитель, известный фольклорист, выделяла необходимую денежку на производственные расходы. А бабки готовили к нашему приходу настоящее застолье, — пекли рыбник, пирог с морошкой, выставляли соленые грибы, бруснику, варили картошку: и сами радовались, и нас подкармливали. И вообще для них это был праздник. А потом, если уж бабки совсем разойдутся, они начинали петь скоромные частушки, загадывать такие же загадки и сказывать неприличные сказки. А поскольку мой напарник был особой мужеска рода, то они его выставляли за дверь.

От деревни к деревне передвигались пешком, или плыли по рекам или озеру Онего на кораблике, или через непролазную грязь-глину добирались на тракторном прицепе. По берегам — настоящие, XVIII века, шатровые церкви. Порой Нина Ивановна комментировала: здесь — стояла, в прошлом году — сгорела.

В одной из деревень рано утром зашла в храм — небольшую церковь, с иконами, но без службы. На входе перекрестилась — не скажу со смыслом, скорее как принято.

А когда поступала в аспирантуру, этот факт, оказалось, стал сразу известен факультетской администрации — донесли. Спрашивается — кто и зачем? Нет ответа.

***12.***

Лермонтовский семинар — это еще и ежегодные поездки на ежегодные научные лермонтовские конференции. (Только нас там и ждали, улыбнусь в скобках.) Но Владимира Николаевича Турбина это совершенно не смущало, и он нас так готовил к сложностям филологической жизни. Разбирали темы и писали курсовые — они же доклады. Потом Турбин выбирал из докладов лучшие, их и представляли, без обид для остальных, — на саму конференцию ехали все. МГУ был богат. Нам давали автобус (!) на две недели (!) с двумя водителями (!), чтобы не дай бог не заснули за рулем. Ехали примерно человек двадцать — члены семинара этого года и предыдущих лет («старшенькие»), а также пара аспирантов из закончивших наш семинар.

Грузились в автобус ранним летним утром, во дворе на Моховой (тогда — проспект Маркса). Закупались плавленые сырки «Дружба», всяческая вода; брали с собой чай, сахар, сушки, печенье, сгущенку, дешевые конфеты, какие-то еще консервы… Ехали, разумеется, с песнями. Пели: и «Мурку», и вообще блатные — смешные песни, и еще Энтин и Лощиц (тоже — наши!) сочиняли свое, и их мы тоже пели. До потери голоса. Мчались в Пятигорск. В Пензу, оттуда — в Тарханы. На Кавказ (о чем я уже рассказывала). Времени на это ежегодное путешествие уходило недели две. Приезжали на место с ночевкой по дороге, иначе не получалось. Ехали через Россию, и видели сами, как лес наш, смешанный, еловый и сосновый, сменялся березовым, липовым, тополиным; начиналась лесостепь с посадками, потом — степь. Выезжали на Волгу, город Горький. Переправлялись через Волгу (около Казани). Купались в реке! Ехали дальше…

Уже к конференции — чистили перышки, собирались внутренне, были готовы к докладам, вопросам и ответам. Было нам лет по восемнадцать — двадцать, и выступали мы среди маститых лермонтоведов, которые вечером — из любопытства — приходили к нам на московский чай с сушками и баранками.

А после докладов задавали лукавые вопросы.

Все там знали Турбина как модерниста от литературоведения — ведь и ученики у него, знать, такие же. И спросили меня: а что у вас сначала появилось, материал или концепция? Я, простодушно: конечно, концепция! Всеобщий смех. Но все-таки добродушный: это вам все-таки не кафедра инквизиции во главе с Кулешовым.

***13.***

Защита докторской проходила у меня на специализированном ученом совете Санкт-Петербургского университета, с видом из старинных окон большой аудитории на памятник Петру — как раз напротив факультетского здания, через Неву. Апрель, солнце на золоте Исаакия, синее небо с белыми облачками, невская водичка бликует. На защиту явились (по моему приглашению) три знаковых для города писателя (покойный Александр Михайлович Панченко отделял «своих», реально питерских, от «чужих» по одному, главному признаку: пил он с данным конкретным человеком водочку или нет) — Яков Гордин, Валерий Попов и Михаил Кураев. Защита продолжалась долго, более трех часов, — одна я вначале говорила минут сорок вместо ожидаемых и положенных двадцати. Выступали оппоненты, зачитывались отзывы, задавались вопросы. Все это время писатели (с букетами) сидели молча, внимательно слушая всех выступающих, — и заговорили только на банкете, проходившем там же, в факультетском ресторанчике. Диссертация моя была о постмодернистах — и питерские ученые отнеслись к теме и ее героям более чем благосклонно. Не возникало никакого подозрения, что здесь есть какое-то неприязненное отношение к направлению, напротив:панорамность взгляда, спокойно включающего в исследование артхаусную литературу.

А в моей памяти главное — Нева, набережная, Медный Всадник, Исаакий, солнечные блики от воды в аудитории. И, конечно, дружественность и поддержка петербургских литераторов. Совсем не постмодернистов.

***14.***

Конференция в Варшавском университете, тема — шестидесятники. Организовал и проводил университетский Институт русистики, а именно его глава, низкий ей поклон за всю ее деятельность, АлисияВолодзько-Буткевич (конференцию приурочили — и практически посвятили — ее юбилею). Шестидесятничество и у нас, и у них: поговорим об общем и отдельном. Я узнала о конференции за несколько месяцев и смогла — благодаря добытому гранту — организовать приезд Игоря Ивановича Виноградова, Льва Александровича Аннин­ского и Александра Николаевича Архангельского. Мало в чем совпадающие, мы представляли «зоопарк» современной русской критики разных поколений и направлений. И нам, как живому «зоопарку», было обеспечено внимание русистов и славистов. Прошу прощения за еще одно звериное сравнение, но это все равно как живая кошка на сцене — переиграет любого народного артиста.

Самой кошачьей кошкой из нас был, конечно же, Лев Александрович. Поблескивая голубыми простодушнейшими глазами, он воспользовался трибуной выступающего в основном для того, чтобы наконец прилюдно выговорить Виноградову за, якобы, узость, а фактически за то, что «Новый мир» (в бытность твардовской редакции, когда Виноградов вел там критику, не забудем, какую, — демократиче­ски-идеологическую, социальную) его, Аннинского, не понимал, не принимал и не печатал. Не буду утверждать, что он на Виноградова нападал. Нет, ни в коем случае, — внешне все выглядело мирно, но коготки в этих кошачьих мягких лапах проявлялись — знаете ведь, как это бывает даже у разомлевшей кошки.

Надо сказать, что Виноградов не снизошел до полемики. Но в ресторан, чтобы вместе поужинать, его не позвал.

И об одном профессиональном совете Аннинского, высказанном в другой раз и по другому поводу, я вспомнила, его слушая: не готовьте выступление заранее. То есть будьте готовы всегда играть от (исходить из) ситуации. Тогда забьете гол.

Мы приехали в Варшаву вскоре после того, как на Смоленщине рухнул самолет с министрами и президентом, летевший на поминовение расстрелянных НКВД в Катыни польских офицеров. В Варшаве ходили слухи о том, что самолет был дезориентирован при посадке. Поселились мы в отеле «Бристоль» (один из лучших отелей мира, мне удалось в нем — правда, я сама его нашла и заказала — провести несколько ночей), а «Бристоль», если кто не знает, одной стеной соседствует с территорией президентского дворца (там накануне нашего приезда происходило прощание с погибшим президентом Лехом Качиньским). Около дворца постоянно собирались протестующие — и лозунги были понятно какие, уж никак не дружественные. На площади за Новым Святом был воздвигнут большой белый деревянный крест, а вокруг него ранним вечером среди принесенных цветов загорались свечи и лампады. По цоколю здания, ведущего на площадь, были установлены портреты погибших — и около них тоже горели свечи и лампады. Близилось Рождество, главный католический праздник, но город был траурным.

И в это же время — конференция, шестидесятники, доклады, российские участники, дружественные вопросы и ответы…

***15.***

То ли оттого, что родители никогда не покупали мне специальных детских книг (предназначенных для чтения советскому ребенку), то ли потому, что в университете я  обходила стороной кафедру советской литературы (но все-таки кое-что я читала — журнал «Новый мир», «Юность», например) и умудрялась в школе и на филфаке выплывать из трудных вопросов за счет русской классики, — когда я начала работать в журнале, фоном для сравнения для современной поэзии или прозы всегда была именно она, классика. Внутреннее сравнение, сопоставление всегда шло с нею. Инфицироваться советской литературой я не успела — я просто ее не знала. Погруженность в Лермонтова, например, была невероятной — потому что от семинара к семинару надо было готовиться и думать, думать и готовиться, на остальное «думанье» не очень хватало сил и времени.

И когда я оказалась с современной советской литературой лицом к лицу, да еще и в таком странном положении — надо было решать и выбирать, — у меня начался стресс: стресс, спровоцированный ее уровнем. Специфическим уровнем. Романы и повести, статьи и стихи были только формально похожи на то, что я знала и любила…

Отступление про «любила».

Как-то раз я ужасно расстроилась — курсе на третьем? — оттого, что Турбин что-то лермонтовское жестко интерпретировал. И я подошла к нему после занятия и сказала, леденея от собственной смелости: Владимир Николаевич, вы не любите Лермонтова!.. И услышала в ответ: а разве биолог любит тот микроб, с которым он работает?.. Сейчас бы я сказала: да, любит, — а тогда просто за­кручинилась, ну как же так можно! И все-таки, я думаю, он все это тоже очень любил, иначе нельзя этим заниматься так въедливо и так долго, — да и биолог свой микроб, конечно, любит.

И вот наконец…

Все-таки меня удержало на журнальном плаву то, что я читала регулярно —  Аксенов и Искандер, Трифонов и Солженицын, Владимов и новомирские литературные фельетоны, а еще статьи и рецензии… Это работало — рядом с университетскими знаниями. И это выдерживало самое важное сопоставление: с Гоголем, Толстым, Достоевским.

Но была одна проверка — заплакать от советской поэзии я не могла. А от Лермонтова — могла. Несмотря на отрезвляющие слова про микроб.

И вот я уже сама — мама, и моя маленькая Маша «проходит» в своей французской школе Пушкина. Дело происходит на кухне, вечером. Я рассказываю ей про дуэль и смерть. Начинаю читать Лермонтова — «Смерть поэта». И плачу. Вот и вся разница.

***16.***

«Можно рукопись продать». Можно и купить.

Можно-то можно, но как это делается. Это не тайна — но и не предмет для разговоров.

Вроде бы такой профессиональный секрет. Хотя секрета особого нет. Есть процедура — и серьезная.

Каким образом решается, что рукопись принята к публикации — или, напротив, отвергнута? Ну насчет первого все понятно — все радуются, соревнуются за радость первым сообщить автору, сообщают, опять-таки радуются — теперь вдвоем…

Существует и «третий путь»: рукопись принимается условно, автору высказываются замечания и пожелания. Выполнит — молодец, не получится — придется ему искать другое издание.

А вот еще формула, из любимых/постоянных: рукопись вернуть, автора обласкать (как правило, это относится к тем, кто уже оправдывал наши ожидания).

…Автор где-то там обретается, а рукопись прочитана. Что делать будем? Думать будем. Собираемся вместе — три-четыре человека, те, кто читал — и начинаем высказываться по кругу (и, разумеется, поддерживать или полемизировать друг с другом), оценивая предложенное.

Итак, градации оценок:

1. Берем!

2. Берем, но с доработкой.

3. Старики сомневаются.

4. Можно…

5. Только без меня.

6. Категорически возражаю!

Только сейчас, когда я все это изложила на бумаге, стало понятным: можно ведь и голосовать, прямо-таки баллами, и подводить итог. Но это неинтересно. Интереснее всего — «заняться литературой», то есть обминать рукопись в своем сознании — придумывать и предъявлять свои аргументы; принимать или отвергать чужие; полемизировать. Разыгрываются целые неумышленные и заранее не отрежиссированныеспектакли, от драмы до комедии (трагедий, слава богу, на моей памяти не было). Кстати, забыла сказать: *это все о прозе*. Бывает, конечно, что мнения совпадают — ну и хорошо, и отлично. Но если… И тут каждому из участников полилога приходится порой и отступить, сохраняя лицо, бросив высокомерное — ну тогда решайте без меня. Без обид. Чтобы можно было, перевернув страницу, приступить к очередному суду присяжных.

Совершаются ли коллективные ошибки? Смотря с какой точки зрения. Если возвращенная рукопись уплыла в другой (конкурирующий — при всей нашей общительности, взаимопонимании и даже поцелуях при встрече — мы все-таки конкуренты) журнал, а потом еще и имела двойной, а то и тройной премиальный успех (как, скажем, роман Андрея Дмитриева с отвратительным, на мой взгляд, названием «Крестьянин итинейджер», получивший «Букера» и «Ясную Поляну», забавно, что по «детской» номинации) — то это, наверное, с точки зрения отношений с постоянным автором, стратегии журнала, его пиара и т.д. была наша коллективная ошибка. Но только если не думать о серьезных литературных ценностях: тут редакция все равно стоит на своем.

***17.***

Действительно, habent sua fata libelli.

Единственная книга, которую я украла в библиотеке, — это «Юрий Тынянов» Аркадия Белинкова. Библиотека была городская, города Боровска. Я только-только поступила в аспирантуру. Мой тогдашний спутник жизни (первый по счету муж) был театральным и кинохудожником (именно он придумал образ — «одел» Людмилу Гурченко в «Карнавальной ночи») и преподавал в Институте кинематографии — на художественном факультете. Я тогда, кстати, носила другую фамилию, по мужу, — Гроссе. Потом, когда мы разводились, он посетовал, что под такой чудесной фамилией будет ходить такое своенравное и эгоистичное существо (им были употреблены, кажется, еще более сильные выражения), как я; и что его родители, носящие, естественно, ту же чудесную фамилию, могут быть этим фактом не очень довольны. И я легко и весело от этой прекрасной фамилии отказалась, вернувшись к своей девичьей, про которую в регистратуре поликлиники Литфонда, давно нами утраченной во многом благодаря главному врачу, впоследствии объявившему себя сумасшедшим (чтобы избежать угроз и преследований со стороны оставшихся без медицины писателей), говорили: много вас, Ивановых, развелось.

Но не в этом дело — а дело в том, что я еще замужем за Олегом Ивановичем Гроссе, и муж повез в Боровск на летнюю практику своих студентов. И я, разумеется, увязалась за ним (и за ними) и тоже там, между прочим, рисовала монастыри и церкви. И зашла в библиотеку. И увидела бесконвойного Белинкова, толстенный невысокий томик в холщевой одежке, с верстовым столбом на корешке, стоящим на полке как ни в чем не бывало. А я знала, что после эмиграции автора его книги в библиотеках подлежали изъятию и уничтожению. И понимала, что здешние библиотекари просто зевнули это распоряжение, или оно на 101-м километре от Москвы затерялось… сгинуло… но ведь настигнет. И уничтожат. Сожгут, как положено по инструкции.

Эту книгу я засунула между первыми в жизни джинсами и голым животом. И так вынесла. Еще раньше я полюбила ее эзопов язык — мне про нее все еще год тому назад рассказал муж-художник, и книгу домой на несколько дней приносил — от Паолы Волковой, с которой он вместе преподавал и с которой дружил.

И книга прожила со мной много-много лет, пережив и развод, и первого мужа, и второго.

Но огонь ее все-таки настиг — вместе с переделкинской дачей, где она стояла на почетном месте уже в моей библиотеке.

***18.***

Опрятностью, и душевной, и внешней, всегда отличалась Галина Петровна Корнилова. Галя, сколько я ее ни встречала, где только с ней ни работала — на семинарах особенно, — отличалась еще и достоинством, и выдержкой.

Поэт Владимир Корнилов был ее первым мужем, а литературный переводчик с польского Сергей Ларин — вторым, тем, с которым я уже ее и застала (*по жизни*, как нынче говорят). У Гали росла дочка Катя (Корнилова), ставшая замечательной художницей, а потом (все произошло на наших глазах, время летит быстро) и внучка Тася, весьма успешно работающая как художница и дизайнер книги.

Когда внучка Тася была еще совсем маленькой, наши семьи вместе проводили лето в Махре — есть такое чу€дное место километрах в двадцати от города Александрова (101-й км, если кто не знает). И вот мы там живем, вернее, мы с мужем, отцом нашей дочери Александром Рыбаковым приезжаем на конец недели, а основательно живут дочь Маша с бабушкой Асей; Галина Петровна неподалеку со своим семейством (дачи принадлежали «Известиям», в издательскую структуру которых входил «Новый мир», где в отделе публицистики работал Сергей Ларин), а еще на небольшом расстоянии обитал Владимир Корнилов со своей женой Ларой Беспаловой (она работала в «Новом мире» в отделе прозы). Абсолютно мирная  дачная жизнь, с совместными купаниями в речке, походами в настоящий бор по соседству за земляникой, вдаль по дорогам и перелескам за грибами и брусникой. По вечерам слышен старинный клавесин — играет Саша Майкапар, и под музыку XVIII века закипает самовар, сосновые шишки собрали на огромном общем участке, где стоят деревянные дачки (внутри пахнет деревом, прогретыми солнцем за день полами). Вечерами слушаем «Свободу» и «Би-би-си». Дети под руководством Галины Петровны устраивают кукольный театр — прямо на поляне натянуто покрывало-занавес. За молоком вечером ходим в Юрлово, к Тоне, — Юрлово настоящая, не дачная деревня, и там бушуют настоящие деревенские страсти, о которых Галя напишет в своих рассказах — с натуры.

Рай, да и только.

Такой, казалось бы, натуральный — и такой искусственный интеллигент­ский рай.

Рай начала второй половины 80-х, когда советское время уже переходило в горбачевское и перспективы кружили головы.

Все отменилось и переменилось 19 августа — в семь утра разбудивший нас в Москве звонок Геннадия Красухина, друга моего Саши, о путче, а в десять утра на пороге квартиры стояла четырнадцатилетняя дочь, каким-то невероятным способом самостоятельно добравшаяся из Махры.

А Галина Петровна? Галина Петровна тоже приехала, вместе с Машей, — она немедленно оказалась на улице Горького и уже уговаривала солдат, танки­стов и бэтээрщиков, — остановить движение.

***19.***

На «знаменский» староновогодний праздник всегда приходит много народа, по преимуществу — литературно-тусовочного. Не только повидаться друг с другом после длинных (затянувшихся более чем на две недели) рождествен­ских каникул, но и выпить-закусить. Но сколько бы денег на фуршет ни было потрачено, когда я вхожу в фуршетный зал (через четверть часа — до того поцеловаться, дать интервью, разобраться с дипломами и цветами), на столах уже мало что остается. Не только потому, что к половине девятого гости проголодались, но и потому, что иные из «гостей» (неопознанные халявщики) набирают себе на тарелки по максимуму и разоряют стол.

В других редакциях на праздник накрывают столы поскромнее — сотрудники сами (в отличие от нас, заказывающих фуршет через кейтеринг) нарезают бутербродики, сами выкладывают селедочку, огурчики, колбаску… И когда я вслух сожалею о наших расходах на двух официантов в белоснежных кителях с галунами, на белые свечи и «скатерти со свисом», то Сергей Чупринин мне на это говорит: «Ну ты же любишьпонты!».

Да, люблю.

И думаю о том, как ужинала дома моя одинокая тетя Ира, всю жизнь проработавшая секретаршей в министерстве, — кажется, лесного хозяйства, могу и спутать. Она единственная из шестерых детей моей бабушки не получила высшего образования — будучи старшей сестрой, тянула младшеньких. Так вот: она расстилала на столе крахмальную белую салфетку, ставила прибор, а на кузнецовскую тарелку выкладывала котлетку за 20 коп., «мясную», или капустную (5 коп.).

Но на фарфоре — и, соответственно, тарелка на салфетке.

Так и наши «знаменские» понты. На сколько хватит.

***20.***

Филармоническое кино — так в одной из радиопередач определил послед­ний фильм Алексея Германа Даниил Дондурей. Удачно. Есть и филармоническая литература (как и филармоническая музыка), она же —артхаусная. Но ведь это необходимо для развития данной области — целиком; артхаусом и филармонией питаются кино, музыка и литература, передавая  большие и маленькие открытия с этажа на этаж, от высокой культуры — вниз и наоборот тоже. Этот кровеносный круг всегда существует в культуре, иначе — или склероз мозга, или ноги отказывают.

На высокое, на «филармонию» в музыке никто не покушается, — но как сладко покуситься на высокую словесность!

«…И всегда говорят о непонятном».

***21.***

*Липки* — имя нарицательное. Сначала, когда пошли слухи о проекте Сергея Александровича Филатова, я поморщилась — уж больно напоминает советские «совещания молодых писателей». Тогда тоже — собирали молодых по областям (регионам), они приезжали в Москву, или под Москву, или куда-нибудь в дом творчества, их селили в одну гостиницу, и старшие по опыту (и «званию») писатели проводили с ними занятия — разбор и литературные наставления, *учеба*. Что-то в этом роде предполагалось и здесь — в пансионате «Липки». Плюс — лекции приезжих политологов, экономистов, историков (в том числе — литературы). Плюс — конечно же, бурное общение, и не за рюмкой чаю.

Пансионат расположен на модном, самом дорогом направлении, Рублево-Успенском шоссе; в здании архитектуры странной и страшноватой — как будто огромный краб или осьминог тянет от центральных холлов свои щупальца (где находятся номера). Потом я узнала, что изначально пансионат выстроен для КГБ… вроде того. Но все удобно, светлая, с огромными окнами в парк, столовая, зимний сад, есть бассейн, можно и чуть-чуть вдохнуть осеннего воздуха (форум проводится в конце октября).

Молодых литераторов Филатов «подключает» к толстым журналам — их представители ведут «мастер-классы». Дело закрутилось, я начала приезжать сама, не раз читала лекции о современной литературе, участвовала в дискуссиях, проводила «круглые столы». А однажды согласилась вести мастер-класс «Знамени» по прозе вместе с Андреем Дмитриевым. Мастер-класс как мастер-класс, все идет своим чередом; первая половина дня — занятия, вторая — встречи и обсуждения.

И вот на одну из встреч — по моей инициативе — был приглашен Павел Бардин с новым (тогда) его фильмом «Россия 88». А надо сказать, что чем дальше, тем больше вести семинары приглашались *разные*журналы — и *разные* по своим убеждениям люди. Александр Казинцев и Сергей Куняев, представляя «Наш современник», открыто пропагандировали взгляды журнала, использовали каждое выступление как трибуну. Капитолина Кокшенева («Москва») агитировала за все «свое» против всего «чужого». А потом все гуськом, тихо-мирно шли в столовую обедать или ужинать; сидели за соседними столами (совместная трапеза сближает, именно поэтому психологи советуют в целях укрепления брака завтракать и ужинать только вместе). Вообразите картинку: младший Куняев, после пафосной речи, за спиной Андрея Арьева.

И вот — вечерний просмотр, после него предполагается дискуссия.

А фильм — открыто и публистично антишовинистский, антинационали­стический. Сюжет вкратце: Ромео и Джульетта, она — русская, он — кавказец; родной брат условной Джульетты — ярый молодой русский фашист, и в фильме показано, как формируется, как накачивается идеологией, прямо ведущей к агрессии и насилию, вплоть до убийств, группа таких волчат, которую тренирует человек из силовых структур.

Смотрим фильм внимательно, пришли все — никто не уходит. Филатов открывает обсуждение. И тут началось — одна стенка (и особенно Кокшенева) на другую (особенно — Дмитриев). А потом, проходя мимоКокшеневой по пути на ужин, Дмитриев ей еще и добавил уже прямым текстом. Она — разумеется! — донесла руководству, т.е. Филатову (ох, этот неистребимый жанр доноса в жизни русских литераторов).

В общем, деликатный Филатов на следующий год удержался от приглашения Андрея Дмитриева вести мастер-класс. А Кокшенева, потерпевшая неудачу при захвате власти в журнале «Москва» (после Бородина), вообще исчезла — и из журнала, и, само собой, из Липок.

***22.***

Еще о Липках.

Шла вторая чеченская война. А на семинар (форум, бери выше) одновременно прибыли «омоновец» в недавнем прошлом Захар Прилепин, Нижний Новгород, и чеченец по происхождению, но из Питера, ГерманСадулаев. Ну, думаем, здесь может начаться свое выяснение отношений… Однако — не началось. Напротив. Они — неожиданно для всех — не то чтобы подружились, но стали явно симпатизировать друг другу.

Прошло сколько-то там — двенадцать? больше? — лет, и каждый из них стал тем, кем стал: Захар Прилепин — лауреат самых-самых премий, от «Большой книги» до «Нацбеста», и одновременно — оторва; а Герман Садулаев —  российский государственник…

На церемонии «Большой книги» бритоголовые нацболы в черных майках сидели в первых рядах торжественного зала Пашкова дома. Я сидела между ними и Сергеем Нарышкиным. Нарышкин, которому надо было вручать главный приз Прилепину (за «Обитель»), все не мог взять в голову, как это у того совсем другое имя-отчество — Евгений Николаевич…

Прилепин не получил только «Русского Букера», вот досада для него и его поклонников. На «Букере» Прилепин появился тоже в компании фанатов. Но захватил и своих детей — пусть запомнят папкиноторжество.

По губам помазали, однако премию пронесли мимо. Как только был объявлен лауреат (Владимир Шаров), Прилепин со всей своей командой поднялся — и вылетел из зала.

Оставив на ресторанном стуле букет — и диплом финалиста, который не стал лауреатом.

***23.***

Все меньше в редакции звонят телефоны. Это связано с преобладанием электронной почты — в контактах с авторами, даже московскими. И слава богу — иной разговор по напряжению стоит десяти писем, продуманных и отправленных адресату.

И еще вот что интересно: письменное слово литератор, будь он хоть какой малой величины, усваивает лучше — а устное слово он то ли недослышит, то ли (намеренно?) недовоспринимает.

Но есть настойчивые — телефонные добиватели твоей нервной системы. Сами они, вероятно, обладают железными нервами.

Среди них чуть ли не первое место по настойчивости занимают звонящие из-за океана. Такой-то, Нью-Йорк. Такой-то, Бостон. Такой-то, Лос-Анджелес. По всей видимости, они полагают, что географическая удаленность прибавляет им веса и значительности.

Второе место по назойливости занимают наши откуда-нибудь из сель­ской тьмутаракани. По старой советской уловке — мол, мы из провинции, и вы здесь, в Москве, обязаны нас заметить и приветить. Тогда, в советские времена, начальство считало связь с провинцией особенно важной (идеологически).

И редко кто понимает, что отказ лучше получить на бумаге, чем в устном разговоре. Ничего личного — только решение. А если устно, то разговор затягивается и принимает порой раздраженный оттенок — ты раздражаешься, потому что сообщать человеку о неприятном всегда неприятно; он раздражается, потому что его не оценили так высоко, как он себя оценивает. Взаимное раздражение удваивается, нарастает… А ведь как просто: уважаемый такой-то, Ваша рукопись редакцию не заинтересовала.

И — точка.

***24.***

Человек, как оказалось, переносит с собой при вынужденном переезде не то чтобы жилище, а образ жилища.

Когда я впервые прилетела в Израиль на конференцию (год примерно 1989), то меня в гости, когда я заехала в Иерусалим из Хайфы (конференция проходила в Кармельском университете, на горе Кармель под Хайфой), пригласили Руфь Зернова и Илья Серман. Они жили в районе новых, очень симпатичных, невысоких домов — занимали там трехкомнатную квартиру. Когда я туда вошла, ахнула — ну точь-в-точь жилище ленинградского профессора, стены в книжных полках и стеллажах, а книги-то знакомые по корешкам. По корешкам узнаете их! Питерская библиотека переехала в Иерусалим — и образовала кокон, внутри которого обитатели чувствовали себя так же, как прежде, — книги располагались на том же месте, только руку протяни. Ничего специфически израиль­ского, иерусалимского внутри квартиры не наблюдалось.

Так же — но внутри уже московской квартиры — я почувствовала себя дома у Вадима Козового и его жены Ирины Емельяновой, дочери Ольги Всеволодовны Ивинской. В Париже. Книги, полки, стеллажи; диван и кресла, явно не новые и не в Париже купленные; стол и стулья, даже ковер и люстра выглядели как москов­ские, с Потаповского. Ну и, разумеется, знакомая посуда (и у Сермана с Зерновой тарелки, чашки, вилки были тоже абсолютно опознаваемые). И такой московский дух, московский уют — даже московский тюль на окнах. Может быть, все и не так, иначе, все уже купленное, из Парижа, но первое впечатление былоочень московским, никак не парижским. И никакого парижского вида из окон, отгороженных легким кружевным тюлем (визит проходил днем, переходящим в вечер).

А вот в доме у Синявских в Фонтене-о-Роз под Парижем — совсем другое дело. Марье Васильевне удалось много чего из России перевезти, включая иконы (за что ее моральную чистоту высоконравственные эмигрантские чистюли подвергали сомнению), но сам дом-то — старинный, французского XVIII века. Трехэтажный, хотя и небольшой. С фонтаном в палисаднике! Хотя и маленьким, и неработающим… И со старой собакой пуделем, лысеющей по хребту Матильдой. Уютный кавардак, то есть домашний творческий беспорядок, кругом и во всем (на первом этаже). А на втором — кабинет (нора) самого Андрея Донатовича, куда он забирается, как улитка.

Когда я приехала (1989 год) к Синявским с ночевкой, Андрей Донатович, видя мой нехороший блеск в глазах при виде изданных за рубежом, в том числе и ими самими, книг и журналов, спросил: хотите? Отбирайте. И я отобрала. Много книг, и весь комплект журнала «Синтаксис». Получилась гора (не горка). Он упаковал эту гору в огромную сумку и отнес в поезд на аэропорт Шарль-де-Голль.

Но в их доме книг меньше не стало.

***25.***

Коктебель был хорош дикостью. Не нравов, а природы. Улицы пыльные, мазанки убогие, — на их фоне выделялась солидностью двухэтажная коробка Дома быта, куда я заходила чинить свои босоножки и дочкины сандалеты, — от походов в горы всегда страдала обувь.

Да, природа еще оставалась дикой, а нравы простыми. На весь дом творчества был один коллективный душ, он работал по часам два раза в неделю. И все должны за это время помыться — и помыть детей, у кого были. И тем не менее — волшебный климат (и в воздухе смешивались морской, горный и степной ароматы) делал свое лечебное дело, в том числе и душевное, и настроение у всех было неплохое, и отношение друг к другу. Складывались компании. Разумеется, ходили в горы. Май. Надо было подняться не позже пяти утра, чтобы отправиться — либо в сторону Сюрюк-Айя, либо в сторону Карадага, либо вообще далеко-далеко на Библейские холмы. Команда собиралась человек десять, а включая маленьких детей — тянуло к пятнадцати. Предводителем, само собой, был Александр Абрамович Аникст, знаток здешних мест, выдающийся шекспировед и учтивый кавалер.

Он ведет нас по тропе, которая поднимается из поселка все выше, через плодовые деревья. Они уже давно выродились — здесь были татарские и болгар­ские сады, от домов остались только камни фундаментов, иногда виден заброшенный и уже давно безводный колодец. Тропа наконец выводит на каменистую грунтовую дорогу, — по ней можно идти к Святой, а там, обогнув ее, спуститься сквозь высокие травы к таинственной биостанции. Стоп, передых, — все немного устали. Жарко. Выходили еще в предутренней прохладе, а теперь полдень — свитера, а то и джинсы давно сняты. Раздеваюсь до купальника.

И тут Александр Абрамович шикарным жестом достает из бокового кармана брюк авоську. Самую обыкновенную, веревочную, как будто каждый уважающий себя джентльмен держит ее при себе на всякий случай. В авоську складываем вещи. Отдыхаю на камне, подложив под себя джинсы, — и легко отправляюсь вперед.

А когда спустились с гор в поселок, выяснилось, что джинсов нет — там, на камне, видимо, и остались.

И будущий классик поэт Ч., сопровождавший меня вместе с композитором Сканави (мужем прекрасной Нины Зархи, все — молодые и веселые) в молниеносном рывке-подъеме за джинсами, ничего на камне — вместе с нами — не нашедший, назавтра пришел в столовую с экспромтом:

  Вчера под действием весны,
            А может быть, спиртного
            В горах оставила штаны
            Наталья Иванова.

Там еще есть, конечно, продолжение — тема не раскрыта, — но это уж он сам решит, когда обнародовать. И надо ли.

А о судьбе Коктебеля, да и вообще о нас, он напишет  длинное стихотворение-поэму — «Закрытие сезона».

Правильное название.

***26.***

Премию Белкина я придумала от литературного огорчения.

Нет, сам жизнелюбивый и на письме оптимистичный Александр Генис меня еще ни разу не огорчил. Но вот название его книги «Иван Петрович умер» — огорчило. Прямо сердце упало. Это какой-такой Иван Петрович? Генис, конечно, имел в виду обобщенного литературного героя. Мол, «умер» он давно, и так уже писать нельзя — «Иван Петрович встал и посмотрел в окно…». Может, и нельзя, Генису виднее, — но ведь и у Маканина герой везде, вплоть до «Андеграунда» — Петрович! Еще от «Старых книг». А у Пушкина? Кто там Иван-то Петрович? Белкин. Ну как это — умер? Он ведь у Пушкина умер еще до публикации «Повестей Ивана Петровича Белкина» — такой, простите, литературный прием… мистификация… публикация повестей помечена: «Издатель А.П.». Понятно кто. Имя Белкина не отдам — вымышленный автор-герой с вымышленным именем-отчеством жив, пока жива его проза.

И придумала премию его имени, единственную в мире премию имени литературного персонажа.

Прошло десять лет — и только в этом, 2015-м, несчастном безденежном году премия оказалась сиротой. Но как только, так сразу, — пообещали меценаты. Не дадим Ивану Петровичу погибнуть.

***27.***

Продолжаю тему имени литературного персонажа.

Вот «Живаго» — очень оказалось востребованное, щеголевато звучащее, запоминающееся имя, то есть фамилия.

Выступаю с докладом о романе Пастернака еще на первой Пастернаков­ской конференции — и говорю среди прочего о происхождении фамилии от слов молитвы: «…Сыне Бога живаго». Для чуткого слуха Пастернака важное и не­обычно звучащее слово. И связанное так или иначе с ключевым словом из названия его ранней поэтической книги «Сестра моя жизнь». Сын поэта Евгений Борисович и Вячеслав Всеволодович Иванов, сидевшие в президиуме (конференция проходила в Литинституте, в красивом зале с колоннами), посмотрели на меня с легким изумлением, — но я не так давно еще в одной книге столкнулась с таким же обоснованием, и еще, и еще в одной…

Но я не об этом, как любит говорить поэт Ч.

Приезжаю в Калифорнию, читаю лекцию в университете Беркли, и еще в одном, и еще в одном университете Южной Калифорнии, — и меня зовут выступить в Пасадене (это такой богатый район вилл в Лос-Анджелесе). Да пожалуйста. А после лекции — устроительница всего, светская дама,  увлекающаяся русской литературой, приглашает на ужин с местным бомондом к себе в дом. Дом чудесный. У хозяйки — две породистые собаки, она их мне представляет. Девочку зовут Лара, а кобеля Живаго€. Почему-то с ударением на последнем слоге.

Совсем другие времена, начало 2000-х. Лечу в Пермь — весьма модное (с точки зрения множащихся культурных проектов) место. Конференция в университете, выступление перед студентами МариныАбашевой. Пермский «звериный стиль» — о нем докладывает Владимир Абашев. И далее — экскурсия по Перми, по пастернаковско-живаговскому Юрятину.

У меня еще одна, открытая лекция — в городской библиотеке, в большом читальном зале, где, если помните, Юрий Андреевич вновь, после разлуки, увидел Лару. Которая читала какие-то марксистские брошюры… В парке, неподалеку от библиотеки, стоит памятник-бюст молодому Пастернаку — в том возра­сте, когда он впервые был на Урале.

А вечером Абашевы ведут меня ужинать. Ресторан называется «Доктор Живаго». Хозяин, оказывается, увлекается литературой, — и на стене, в рамке под стеклом, — письмо Пастернака. Вряд ли оригинал. Но все-таки.

Сейчас и в Москве открыт ресторан «Доктор Живаго». Имечко. Денежки. Интересно, — зарегистрирован ли бренд семьей, наследниками Б.Л.? Это вряд ли.

***28.***

На белом пластиковом кресле в саду у Жоржа Нива (деревня Эзри, Франция, 5 км от Женевы) молчаливый Булат Окуджава просидел, как свидетельствует хозяин, три дня — с перерывами на французскую еду и вино и, разумеется, сон. Там, у Жоржа, где есть даже маленький огородик, где Жорж выращивает овощи, совершенно волшебное место: дом, выстроенный по плану хозяина, и большой сад расположены высоко на холме, чтобы подъехать, машина одолевает плавный, но подъем, холм покато спускается, и возникает ощущение, что земля именно здесь закругляется. Впрочем, вероятно, что так оно и есть.

Я неслучайно сказала про огородик — будучи совсем молодым, Жорж не только близко познакомился с Пастернаком, но и стал женихом Ирины, дочери Ольги Всеволодовны Ивинской. И Жорж всегда расцветает при виде Ирины. Она тоже стала по паспорту французской гражданкой, хотя и не вышла замуж за Жоржа. Она вышла замуж за Вадима Козового, с которым познакомилась в лагере, куда ее отправили сразу после кончины Пастернака.

Но возвращаюсь к Жоржу, его саду и дому: да, Жорж из тех, кто навсегда отравлен русской культурой. Или — она к нему привита? Мой дед по матери, Борис Алексеевич Калугин, показывал мне в своем саду, в Строгино, — как это делается, как черенок входит в ветвь. Он сам прививал яблони.

Это все русские дела — сад, огород… И Жорж тоже, как мне кажется, устроил свою под-женевскую жизнь по примеру подмосковной дачи. И дом его, обвитый цветущей почти круглый год глицинией, чем-то очень похож на подмосковный, хотя совсем по-французски оборудован внутри.

И потом — я не видела на переделкинских даже дачах таких огромных, разумно собранных *русских* библиотек.

Сочетание: сада и библиотеки, рояля и просторной французской кухни-столовой, на разных уровнях дома — странных комнаток, в каждой из которых есть стол для работы с книгами, а книжные шкафы как будто размножаются по всем стенам.

И по этой библиотеке Жорж с гордостью водит гостей, показывая свои богатства.

Когда я была недавно на этой экскурсии, на которой ранее, до своего несчастья, бывала не раз, — у меня физически, не метафорически, обливалось кровью сердце: я не могу (после своего пожара) рассматривать чужую библиотеку и радоваться ей. Это все равно как потерявшему дитя радостно показывают своих: смотри, как хорошо растут, какие умные и красивые дети.

А в саду — в саду, где закругляется земля, я чувствую себя прекрасно. И понимаю, насколько все здесь французское: и сад, и дом, и хозяин.

А познакомились с Жоржем мы в Страсбурге в 1989-м — там проходил книжный фестиваль-ярмарка, так называемый «Перекресток литератур». Кажется, это было в июне.

Чудесный город, красивейший собор, превосходная компания, как из России (включая Людмилу Петрушевскую), так и из Франции (включая чету Синявский — Розанова). Куда-то нас всех вместе повели ужинать, и там появился Жорж. (И Марья Васильевна тут же рассказала мне любовную легенду, вернее, легенду о любви, разрушенной властями.)

***29.***

Для тех, кто не знает: чтобы провести какое-то время в ДТ, доме творчества Литфонда СССР, в любом из них — на Пицунде или в Коктебеле, в Дубултах, в Ялте, в Комарово — надо было платить. Правда, цена «путевки» на двадцать четыре дня была не такая уж крупная (так называемый «первый срок»), но она была вполне ощутимой. И когда меня за ничем не награждаемую работу над ежегодным альманахом «День поэзии» все-таки вознаградили путевкой — в Ялту или в Коктебель, выбор за мной, — я была рада, что это бесплатно. Это было исключение, повторяю — плата за немалую работу (помощь в составлении, — я еще тогда была слишком молодой для того, чтобы мне одной поручили столь ответственное дело).

И я выбрала Ялту. Сама не знаю, почему — *до того* я не бывала нигде, ни в каком ДТ. А где Ялта — там Чехов. И «Дама с собачкой».

Вы будете смеяться, но ни к какому Чехову я попасть не успела — прогулки каждый день были, но с живыми классиками.

Не всегда прогулки, еще и «посиделки» — с Вениамином Александровичем Кавериным, для меня тогда автором легендарных «Двух капитанов». С Леонидом Ефимовичем Пинским. С Виктором Шкловским и его женой Серафимой. Серафима любила пить кофе в «Ореанде», на ялтинской набережной; я ходила играть в теннис на городские корты, а на обратном пути в ДТ заходила в «Ореанду» вместе с сопровождавшим меня автором модной книги о Блоке «Гамаюн» Владимиром Николаевичем Орловым (мне было лестно — и Орлов, и Шклов­ские, и «Ореанда», всё в одном флаконе). И, главное, — с полным ощущением *права*, потому что — заработала вот этими руками, которые клеили и подклеивали альманах (компьютеров не было), и собственной головой.

Шли годы.

И вот уже 90-е, и понятно, что никаких ДТ у Литфонда не осталось, и уединиться не очень-то получится — цены на гостиницы и переезды кусаются так, что ни о каких двадцати четырех днях (или соразмерный период) речи быть не может.

И вдруг я узнаю€ про Готланд — ПЕН-центр Швеции, оказывается, имеет свой маленький международный Дом писателей и переводчиков. И по моему письму мне дали на месяц комнату, вернее — кабинет, и оплачивают даже проезд. И я плыву ночным паромом из Стокгольма в маленький город Висбю, столицу Готланда, и боюсь парома; и провожу там месяц, и много чего делаю, потому что надо же оправдать шанс — тебе дали возможность сосредоточенно работать *для себя*.

Мораль: когда *у нас* что-нибудь хорошее отнимают, — поищи *у других* — может быть, там найдется аналог.

Вне зависимости от всяких громких — с разных сторон — осуждающих слов о бесплатном сыре и писательском колхозе.

***30.***

Книжные ярмарки можно различить по шуму. Например, международная книжная ярмарка во Франкфурте почти бесшумная. В огромном, многосветном павильоне-ангаре, с огромным же количеством людей внутри, стоит тишина — чем-то звукопоглощающим покрыты пол, стены, перегородки между стендами. Шумно только при входе — когда, поднявшись на эскалаторах, издательский народ быстро передвигается по высоким проходам, тоже снабженным эскалаторами, только горизонтальными, в поисках своего сектора. Но переходы устроены так внятно и логично, что уже на второй день на поиск стенда не надо тратить времени. И ломать голову.

Шумный, сверхшумный павильон — это наша осенняя книжная ярмарка. Смешная  у нее получается аббревиатура — ММКВЯ на ВДНХ. Входишь в павиль­он — и вздрагиваешь от криков зазывал и транслируемых по звукоусилителям выступлений отечественных писателей. Примерно так: справа на подиуме сидит и кричит в микрофон Дмитрий Быков, стараясь перекричать рекламные голоса, а справа на аналогичном возвышении — например, Татьяна Устинова и не менее громко, хорошо поставленным голосом, перекрикивает ярмарочные объявления. В голове у меня от всех перекрестных криков что-то щелкает — желание только одно: немедленно покинуть стены этого негостеприимного заведения.

Журнал пару раз проводил там свои презентации. Ну как это делается?  Целая забота. Заранее договариваешься с авторами, чтобы они пришли вовремя с некоторыми ответами на тему, обещая потом весь этот «круглый стол» опубликовать. К моему полному изумлению — приходят! И выступают! Про стихи, например, рассказывают друг другу… Кипятятся, спорят. Заводятся от выступлений коллег по несчастью быть в это нелегкое время профессиональными литераторами. Я восхищаюсь. Но это так, реплика в сторону.

Но сначала надо проникнуть — в ту выгородку с пластиковыми стенками, которая гордо именуется «Конференц-зал № такой-то». Мы с выступающими собираемся, группируемся у пластиковой (псевдо)двери, а те, кто проводит свою презентацию до нас, совершенно не собираются покидать пластиковые стены конференц-зала № такой-то. Более того: они в экстазе распевают молитвы. Чу­принин, человек более, видимо, чем я, деликатный, продолжает стоять у дверей; время идет, православные покидать помещение не собираются. Приходится мне — пробравшись в «президиум», то есть к столу с разложенными книжками и ритуальными (?) предметами, громко объявить, что время их истекло, и приказать немедленно покинуть зал (мы же знаем, что нам — по истечении положенного часа — ни минуточки не дадут следующие за нами по расписанию). Недовольные православные расходятся, бросая в мою сторону недружелюбные взгляды и реплики. (Так, видимо, у них принято — желать всего наилучшего в агрессивной манере.)

И мы начинаем.

И как только объявляем «круглый стол» не только круглым, но и открытым, мимо проходящие казаки грянули свою казачью песню. Со свистом. Прошли казаки, вроде все утихло, мы и наши авторы перевели дух и переглянулись. Но тут в соседнем конференц-зале началась церемония присуждения премии за худшую редактуру… корректуру… оформление… И до боли знакомый голос Александра Гаврилова иронизирует в микрофон, разносящий эту иронию по всем пластмассовым закоулкам…

Где нет шума, но стоит непрерывный гул, так это на нашей любимой ярмарке «Non fiction» (любимой, но не родной — ярмарка частная, деньги за участие ее организаторы берут как следует). Гул — потому что ввыгородках стоят издатели, у стендов и лотков покупатели протягивают им деньги и забирают книги, собираются и закручиваются небольшие, но все-таки очереди. А главное — почти все знакомы, радуются друг другу при встрече, обнимаются-целуются, как у нас принято, несмотря на жуткую поздненоябрьскую и раннедекабрьскую гриппозную погодку. Там, за панельными стенами ЦДХ, Центрального дома художника, — снег с дождем, грязь, ранняя темнота и ветер; а здесь тепло, светло, кругом вроде свои. И гул стоит вполне симпатичный, хотя от него тоже начинает болеть голова.

***31.***

На книжную ярмарку в Лондон поехала команда русских писателей и критиков, все яркие творческие индивидуальности — Владимир Маканин, Дмитрий Быков, Ольга Славникова, Александр Терехов, Михаил Шишкин, Лев Данилкин… Каждое утро писатели дисциплинированно приезжали на российский стенд и поочередно сидели за столом с микрофоном — или рассказывая о себе любимом, или обсуждая какую-то литературную тему, или собеседуя в уголку с предполагаемым издателем-переводчиком. Все было устроено весьма симпатично — и даже сделанные в рост фигуры-манекены наших писателей привлекали внимание. Стильно — обошлись без березок, хохломы и матрешек. Но лондон­ская издательская и журналистская публика вокруг не кустилась. А обыкновенные русские, живущие в Лондоне, тоже не приходили — входной билет на ярмарку дорог, более десяти полновесных английских фунтов, если не ошибаюсь. Зато бесплатно для издателей — Лондонская книжная ярмарка издательская, а не читательская, торгуют (взаимно) правами, а не экземплярами книг.

И вдруг — как ветер пронесся: в литературном кафе неподалеку от нашего стенда объявлена встреча с Умберто Эко. Пришла — увидела вот какую картину: Умберто Эко сидит в креслах на невысоком подиуме, рядом — издатель и переводчик; а вокруг — полно народу! Сидят и стоят — голова к голове. И шеи из-за спин тянут, чтобы увидеть.

Вот в такой позе я запомнила Дмитрия Львовича Быкова. Неопознаваемый в ярмарочной толпе писатель смотрит на писателя всемирно знаменитого и благоговейно внимает ему.

***32.***

Куда подевались бюстики? У нас дома (родители получили первую комнату, 13 кв. м, нас — четверо: мама, папа, только что родившийся брат и я) половину стены занимал огромный, до потолка (а потолок — метра четыре высотой, это бывший доходный дом на Садово-Спасской, он жив и поныне), книжный стеллаж. Итак — два бюстика, Пушкин и Чайковский. Главный поэт и главный композитор. Оба — белые, фарфоровые, но фарфор не гладкий, а какой-то на ощупь чуть шершавенький. И его очень приятно поглаживать.

А еще все в той же комнате помещался «инструмент», как его гордо называла мама, — пианино орехового цвета немецкой марки «Шредер». У него был особенный звук, все остальные мне под руками не нравились, ну никак. Инструмент мне подарил дед — на восьмилетие. Чтобы занималась музыкой как следует.

И Чайковский перекочевал на пианино.

Третий обязательный классик в комнате был Лев Толстой. Во-первых, отец подарил мне толстую, в коричневом тканом переплете (опять-таки приятно гладить) «Книгу для чтения», составленную Толстым для яснополянских детей. А во-вторых, если я заболевала и лежала в постели с температурой, мне давали чай с хлебом, намазанным медовым (!) маслом, и отец вечером после работы, на ночь читал вслух рассказы Толстого для детей. О Бульке, например, — целый сериал, как мы определили бы сегодня.

Теперь у меня нет никаких бюстиков — остались в прошлом времени. Есть маленькая фигурка бронзовой Ахматовой и Екатерина Великая на мраморном пьедестальчике от Царскосельской художественной премии. А в доме у Инны Львовны Лиснянской, где я пишу эти строки, бюстик все-таки сохранился, только я не знаю, ее ли это или Семена Израилевича, — пустотелый медный бюстик. Пушкин, всегда опознаваемый, вне зависимости от мастерства художника: курчавая голова, бакенбарды. Бюстик старый, потемневший, — то ли до-, то ли после­военный. Знак, символ, почти икона. Вместо иконы.

***33.***

Никто не любит посещать кладбища так, как русские, — заметил однажды Жорж Нива. Не знаю, не знаю. На могилу Пастернака на переделкинском кладбище постоянно приезжают знатные (и не очень знатные, просто слависты) иностранцы. И на могилу Толстого приезжают — маленький зеленый холмик на небольшой поляне среди вековых, высоченных деревьев. И по Новодевичьему бродят — с планами в руках.

Но русские, действительно, не могут проехать равнодушно мимо мемориального кладбища.

Визит в Шотландию. Останавливаемся в городке Моффат, посреди которого благодарные жители поставили памятник барану (овечья шерсть и все производное — главный источник дохода, изделия из шерсти, из твида, в шотландскую клетку, свитера и кардиганы). Здесь намечена и проходит весьма успешно конференция в честь 200-летия Лермонтова, отчасти шотландца из славного рода Лермонтов.

А кроме того — неподалеку расположены места, связанные с памятью о Роберте Бернсе, с детства нам знакомом благодаря переводам Маршака.

В свободный от заседаний час едем в другой шотландский городок, где Роберт Бернс жил. И умер. И похоронен. И отправляемся на кладбище. Это первое шотландское кладбище в моей жизни.

На кладбище много памятников.

Совсем старые, из красноватого или серого песчаника, XVI–XVIII веков, они стоят, покосившись, на типичной для Шотландии зеленой травке. И мы с Александром Яковлевичем Ливергантом, который собаку съел на английской и шотландской литературах, бродим среди могил, читая надписи. Но самое удивительное — могильные плиты подняты на толстые ножки, толще рояльных, — и больше всего такое надгробие напоминает стол. Самый настоящий стол. Можно прийти помянуть — и попировать. Правда, пирующих-поминающих шотландцев я не приметила.

Очень русская мысль. Пришедшая в голову на шотландском кладбище.

***34.***

Все-таки известность имеет значение.

Когда Михаил Шишкин был известен только узкому кругу, не более, он женился на Франциске, гражданке Швейцарии, с нею туда и уехал. И там они с Франциской родили сына.

В «Знамени» уже напечатали к тому времени его большой рассказ «Уроки каллиграфии» и роман «Записки Ларионова», которому я заменила название (разумеется, с согласия автора) на более выразительное — «Всех ожидает одна ночь». По крайней мере мне тогда так казалось, что более выразительное. Сам автор позже вернулся к первоначальному названию.

Но не в этом дело, как любит говорить мой друг поэт Ч.

А дело в том, что в Швейцарии Михаил Шишкин оказался практически без средств к существованию.

И я попросила своих коллег из Швейцарии помочь ему с работой — лекциями, выступлениями, переводами. Тем более что он свободно говорит, и пишет, и думает на немецком. Я рассказывала, и очень эмоционально, какой он хороший писатель. Я даже не говорила, что его книги надо бы издать — я упирала на немедленный спасительный заработок. И что вы думаете? Никто ему не помог. Он с трудом нашел работу переводчика при департаменте беженцев (позже он включит свой опыт в начало романа «Венерин волос»). И сел писать книгу о русской Швейцарии — непосредственно на немецком, благо он владеет им действительно очень хорошо, работал в Москве школьным учителем немецкого.

И только потом, когда он получил несколько премий, мои швейцарские коллеги обратили на него внимание — надо же, здесь живет русский писатель, и он написал книгу о Швейцарии, и мы его еще не приглашали выступить в нашем университете!

Теперь Михаил Шишкин представляет Швейцарию у нас в Москве на книжной ярмарке «Non fiction».

Так приходит gloria mundi.

***35.***

Я читаю спецкурс в здании гуманитарных факультетов, что на Ленгорах, то есть, прошу прощения, Воробьевых (все-таки вздрагиваю — тогда это были Ленгоры, так же как для коренных петербуржцев городом их рождения остается Ленинград). А тогда, когда это были Ленгоры, наш филологический факультет располагался на Моховой, в здании начала XIX века — где изначально находился историко-филологический и где обучались будущие русские знаменитые писатели. О которых нам теперь читали лекции.

В этом что-то было — и что-то совсем особенное.

Помещения факультетские были тесные, и всего одна большая полукруглая аудитория с низким потолком, где читал спецкурс о Пушкине Сергей Михайлович Бонди и где защищал кандидатскую, зачтенную ему как докторская, Сергей Сергеевич Аверинцев.

Другие две «поточные» аудитории, Коммунистическая и шестьдесят ше­стая, находились в аналогичном здании через улицу: тогда Герцена, теперь Большую Никитскую. И бегали мы туда-обратно зимой для скорости без пальто.

Но основная жизнь протекала все-таки там, где под нами находились журналисты. В другом крыле здания был ИСАА, Институт стран Азии и Африки, до того именовавшийся ИВЯ, Институтом восточных языков. Территорию внутри ограды, выходящей на Манежную, вроде сквера с лавочками, изначально называли психодромом. Прекрасное было ме­сто для перспективных знакомств филологинь с представителями мужских факультетов: на лавочках болтали, курили, хохотали, — не целовались, это не было принято.

Май. Сижу на лавочке — спиной к проспекту, лицом к библиотеке, к читальному залу. Почему-то одна — наверное, подруги уже вспорхнули и улетели на занятия, а я замешкалась. И подсаживается ко мне странный человек — совсем пожилой, старый мальчик. Маленького росточка, очень бедно, даже по тем временам, одет, подпоясан чуть ли не веревочкой. И спрашивает меня: учитесь на филологическом? Да. Какой курс? Семинар? Думаете, знаете Пушкина; ну… А вот вам строка — продолжите. Выясняется, что мои знания ни к черту. Человек представляется: Крученых, Алексей Иванович. Вот какие люди захаживали напсиходром. И нет бы заинтриговаться! Нет, пошла на лекцию.

Потом я его вспоминала — когда уже в аспирантуре рассматривала «будетлянские» книжки, первоиздания. Тогда же… тогда никто и не объяснил, с кем рядом я оказалась на лавочке во дворике МГУ.

***36.***

Ольга Всеволодовна Ивинская и в старости сохраняла черты и повадки красавицы. Меня познакомил с ней Жорж Нива — дело было в Страсбурге, на книжной ярмарке «Перекрестки литератур». Она и Жорж выступали днем на презентации, — видимо, поводом было издание перевода ее книги воспоминаний на французский или вообще что-то вокруг Пастернака, точно не помню. Помню только, как она смотрелась на подиуме — полная, но статная, хорошего вкуса черное платье в мелкий белый горошек, белокурые волосы заколоты в намеренно небрежный пучок.

Потом наплывает картинка — Андрей Битов сидит у стенда своего издательства, рядом со своей книгой. А вечером — небольшой симпатичный пир устроителей, много мелких вкусных вещей, а главное — впервые в жизни вижу и пробую страсбургский пирог. Ольги Всеволодовны с нами нет — она устала, отдыхает. Поздно — и нам пора возвращаться в гостиницу.

И тут Битов отхватывает хороший кусок страсбургского пирога, уносит с собой; в гостинице поднимается к себе в номер за водкой, а потом мы вместе с ним стучимся к Ольге Всеволодовне.

Она принимает нас в халатике, полусидя на пышной кровати; пирог разделен, водка налита, новый пир, вернее, продолжение пира, затягивается заполночь.

Так продолжалась не литература — литературная жизнь.

С подспудной мыслью о классике.

***37.***

О назначении Григория Яковлевича Бакланова главным редактором журнала «Знамя» я узнала тут же — он позвонил мне сразу как вернулся домой из ЦК. (Мобильных телефонов тогда не было.) Это был август 1986 года. А в июне я перешла из «Знамени» в «Дружбу народов».

Телефонный звонок Бакланова с известием и приглашением немедленно вернуться в «Знамя» раздался тогда, когда у нас дома произошел потоп — хлынули на пол в кухне черные воды канализационной трубы. Мы с мужем вызвали «неотложку», а сами по щиколотку в грязи безуспешно пытались поток остановить. Помню себя — с тряпкой в руках, перемазанную грязью, — а за окном солнце, лето, все равно смешно, хотя и противно… Но что же делать — бросать только что обретенную «Дружбу»? Нехорошо, нельзя. Так и ответила — и, задержавшись в «ДН» еще на целых пять лет, стала постоянным автором «Знамени». А потом и вернулась.

Важно было на этот период сохранять дистанцию независимого критика. А период-то был активный, расцвет для литкритики — с 1986-го до 1991-го. (Дальше — все стало падать, и тиражи, и влиятельность.) Так что печатать можно было все, что успеешь написать, — в «ДН», «Знамени», «Московских новостях», «Огоньке», были и еще издания вроде ныне забытого, но очень азартного «Горизонта» или «Век ХХ и мир» во главе с умным, прекрасным Андреем Фадиным, рано погибшим в автокатастрофе.

Эта самая личная литературно-критическая независимость, всякая, и бесцензурность, и экономическая тоже, казалась бесконечной — и внутренне необходимой, особо ценным преимуществом. «Знамя» несколько раз заказывало мне годовые обзоры — по типу «большой мудрой статьи», по формату статей Белинского «Взгляд на русскую литературу» такого-то года. И все бы хорошо и свободно, и нигде не жмет — ни в объеме, ни по сути. Как вдруг…

Дело происходит так: Григорий Яковлевич обозначает абзац, где я высказываюсь по поводу постановки Юрием Любимовым «Бориса Годунова». Что-то меня там, в этом спектакле, царапало, — наверное, прямолинейность. Бакланов предлагает абзац снять, с лукавым аргументом — зачем, мол, в литературном обзоре театр… Я напрягаюсь. И вообще (тут я Бакланова уже довожу до точки кипения) я, Бакланов, с ним, с Юрием Петровичем, столько лет дружу!

Все равно сопротивляюсь. А главное — вспоминаю, что в «Литгазете» Евгений Кривицкий, терпение которого я много раз как автор испытывала, в конце концов тоже один раз прибегнул к этому аргументу — мол, это мой приятель, мы вместе водку пили.

И я в конце концов сдалась — и в первом, и во втором случае. Потому что признались — честно…

***38.***

Поездка в Гоа — как это вообще получилось?

А так: пригласили на славистическую конференцию в Индию, в университет Нью-Дели: Людмилу Улицкую (она поехала с мужем скульптором Андреем Красулиным), Игоря Шайтанова, Элен Мела, ТатьянуНабатникову, Максима Кронгауза и меня. И предложили после конференции полететь в Гоа дней на пять — за наш, разумеется, счет.

И вот — конференция, устроенная индийской красавицей филологиней Ранджаной Саксена, заведующей кафедрой, с помощью еще одной красавицы, Рашми Дорасвами, тоже завкафедрой славистики другого делийского университета, — с того времени коллеги стали моими подругами.

Конференция плотно набита докладами, все индийские слависты не только говорят — выступают на русском языке (!), и в зале много студентов и аспирантов. А после конференции — летим в Гоа. Делийский аэродром, очень много людей (многолюдность Индии сразу бросается в глаза). Два часа лету. И — совсем другой, жаркий и влажный воздух (трудно дышать, пока не привыкнешь). Полчаса на такси. Гостиница из нескольких коттеджей в парке — на берегу океана. И — океан, который дышит. И как дышит! Медленно, полной грудью, наплывая мощной невысокой волной. Мы побежали смотреть на закат, а мест­ные, по всей видимости, жители, высыпавшие на берег, заходят в воду по пояс. Множество людей на берегу просто любуется закатом, дышит океаном вместе с океаном.

И что же мы делаем — пять дней на берегу? Купаемся и загораем. Конечно, вместе с Люсей ездим в столицу Гоа Панаджи — и из любопытства, а еще купить колечки и шали. Но еще — именно мы, вдвоем с Улицкой, — записываемся на однодневную экскурсию по штату Гоа. И едем — на разбитом автобусике вроде нашего ПАЗа, если кто помнит; вместе с нами — индийцы с женами (наконец и сами индийцы — средний класс по-индийски — едут отдыхать в отели Гоа и смотреть достопримечательности, это для экономики Индии очень хорошая новость). Мы в автобусе только двое иностранцев, но экскурсовод (а она есть) информирует обо всем на английском (еще одно мое открытие: в Индии двадцать шесть штатов, несколько языков; язык общения индийцев всех штатов — английский). Проезжаем столицу, выезжаем в самые настоящие джунгли сквозь дороги-просеки. Вдруг автобус останавливается, экскурсовод показывает: у обочины лежит огромный мертвый удав, похожий на толстое срубленное дерево. Около удава — несколько человек, созерцают удава с любопытством. А я — с некоторой оторопью.

Улицкая при этом совершенно спокойна.

Она спокойна и все наше автобусное путешествие. Невозмутима при входе в любой храм — от мощного темно-кирпичного католического (наследие колонизаторов-португальцев) до индуистского, куда женщины заходят босыми, в сари с цветами и плодами в руках, это их жертвоприношение. Взвешенность, невозмутимость и уверенность — постоянное состояние Улицкой. Что бы ни происходило вокруг. Маленькая, в черном купальнике, на берегу океана. Выступающая на делийской конференции. Шагающая на московской демонстрации. Гуляющая в перерыве апрельской книжной ярмарки (Salon du Livre) по весеннему яркому Парижу.

Но при виде удава!

Что€ удивляет: и везде ее проза присутствует и анализируется, какие бы претензии ей ни предъявляли снобы-критики вроде меня. Приезжаю в университет венгерского города Дебрецена — в докладахнепременна ее «Сонечка».

Говорю со студентами-второкурсниками, спрашиваю, кого из современных авторов они читали, знают, о ком сразу, «не отходя от парты», могут написать маленькое эссе, — это Улицкая. Тоже ведь есть о чем задуматься. Особенно таким, как я, — любящим не только размещать литературу по этажам, но и не покидать своего этажа при обзоре и выборе.

***39.***

Почему я иногда застреваю на поездках — не для рассказа о впечатлениях (хотя куда ж без них, особенно если они экзотические, вроде мертвого удава при дороге) — в них ведь проявляются соотечественники, соседи по путешест­вию. В обычной жизни — сидишь на месте, видишь коллегу раз в месяц, год, неделю, да еще и на короткое время. А если — ехать? Лететь? Вместе? На край света, да еще на несколько дней?

Полетели на Кубу, на международную книжную ярмарку — замечательно! Мне и раньше предлагали, но я всегда щепетильно отказывалась — мол, у них диктатура и все такое, не хочу смотреть на это… Асейчас вроде Фидель болен, на Кубе какие-то подвижки. Да и вообще можно не успеть увидеть Кубу. При нашей-то жизни. А — хочется.

На Кубе, в Гаване, не встречала полных, толстых, понятно почему, — зато видела (все несколько дней, пока продолжалась ярмарка) длинную цепь людей в очереди — чтобы туда, на ярмарку, попасть. За духовной пищей, скажете вы, — и не ошибетесь. Все-таки увидеть своими глазами — великое дело. Именно за тем, чтобы посмотреть, прикоснуться к книгам, а может, и получить в подарок, — образуется толпа, но спокойная и упорядоченная. Благородная.

Наше дело — проводить встречи с авторами, вести «круглые столы», делиться соображениями. На «круглые столы» и встречи приходит не так уж и много народу — все стремятся больше в павильоны к книгам, чем к разговорам. Бывает, что и рассказываем о литературе только литературным переводчикам с русского на испанский. Что меня восхищает — ни один из нас при этом не теряет темперамента, сколько бы ни было слушателей. Более того: литературные разговоры, наблюдения, слухи, новости продолжаются и вне стен ярмарки, утром и вечером, за завтраком и за ужином. И в результате понимаешь, что твой коллега так же помешан на литературе, как и ты. Куда бы мы ни летели, несем свое в себе.

В качестве культурного бонуса нас везут на виллу Хемингуэя. Которую он сначала несколько лет арендовал, а потом купил.

Дом Хемингуэя расположен глубоко в парке («на участке» не скажешь — территория большая, надо идти от ворот, где продают билеты на посещение, минут пятнадцать). Дом одноэтажный, деревянный, белый. Большие окна распахнуты настежь — их много по периметру. Заходить в дом нельзя, но сквозь большие открытые окна и стеклянные двери хорошо видно — и все внутри дома оставлено так, все мелочи, все-все-все предметы, книги, картины, как будто хозяева только что его покинули, да и то ненадолго.

Поворачиваем за угол — а там окно в ванную комнату, соединенную с уборной. Белый кафель.

И все на минуту застывают.

О бренности жизни думаешь не при виде книг или картин, а при виде белого унитаза.

Но это все моменты расслабления.

Момент напряжения на Гаванской ярмарке был один: заход в наш павильончик (и то сильно сказано) Дмитрия Анатольевича Медведева. К этому визиту сотрудники готовились. Волновались. Несколько раз меняли экспозицию.

Он зашел минут на пять. Демократ, поздоровался за руку с коллегами.

И пожелал всем всего наилучшего.

Сама не пойму, почему осталась какая-то странная неудовлетворенность: наверное, потому, что — ноль эмоций, ноль реакции на любую из книг. Просто ноль.

Спрашивается: зачем приезжал?

***40.***

Премиальный процесс. Что это? Из-за сокращения возможности разметить литературное поле критикой (рецензиями, обзорами и т.д.) возникает иллюзия, что отбор премиальных жюри и есть наш высший литературный суд. К решениям которого надо не только прислушиваться — их надо исполнять! Исполняют. Например, заходишь в московский книжный магазин (любой из центральных) — и видишь воочию, что книги-«лауреаты» уже выставлены, первыми лезут в глаза простодушного, незнающего, невинного покупателя…

Ах, если бы я не знала, кто эти читчики, производящие отбор для премиальных жюри. О репутации своей они совсем не беспокоятся: ведь решение анонимно, личной ответственности они ни перед кем (перед литературным и читательским сообществом) не несут. Члены жюри, эксперты — уже другое дело; они названы пофамильно, есть все-таки с кого спросить (хотя и они, как правило, уклоняются, ссылаясь на очень удобную для коллективной безответственности тайну совещательной комнаты).

Поэтому у меня нет особого доверия к крупным премиальным решениям — тем более если жюри зашкаливает количеством членов.

***41.***

А все-таки один раз сговор по поводу присуждения премии был, и я его участница. Но все по порядку.

Сначала трое критиков — Чупринин, Немзер и Новиков (Владимир) — подумали об объединении литературных критиков в некую ассоциацию, вроде гильдии, — чтобы «поднять статус» критика в стремительно теряющую литературные интересы эпоху, обратить внимание на особую роль критики в обществе, особое его, равнодушного общества, внимание. Еще несколько критиков поддержали эту идею — так была учреждена Академия русской современной словесности, сокращенно АРС’С.

Очень хорошо. Но как сделать, чтобы ее заметили? Нужна премия. Немаленькая. Деньги нашли — через обращение к Потанину и Прохорову. Премию назвали именем «органического критика» Аполлона Григорьева — подальше от политики, поближе к эстетике.

И ведь — двадцать пять тысяч долларов! Не комар чихнул. Кому?

И здесь, теперь могу сказать, сколько лет прошло: мы трое — Владимир Новиков, Сергей Чупринин и я — решили, что поэт Иван Жданов и есть та литературная фигура, которой хорошо бы открыть премиальную историю. И все трое его выдвинули. И, как я понимаю, таким тройственным единством, видимо, повлияли на выбор жюри.

Уже более десяти лет не существует этой премии. Ушла из жизни АРС’С. Если кто из почти сорока ее членов и продолжает подписываться гордым словом «академик», то это его личный бзик — академик без академии.

А Иван Жданов на полученные деньги купил квартирку в Ялте. Поступил самым мудрым образом — «вложился» в недвижимость.

Правда, новых его стихов я с тех пор не встречала.

***42.***

Как я не познакомилась с Бахтиным.

Лермонтовский семинар ежегодно отправлялся на лермонтовские конференции, — я об этом уже упоминала. Одна из конференций проходила в Пензе — неподалеку, как известно, Тарханы, куда наш автобус с семинаристами съездил на экскурсию. В склепе, где стоит запаянный гроб Лермонтова, мне стало не по себе, но не в этом дело, как говорит мой друг поэт Ч.

А дело в том, что маршрут на Пензу был проложен Турбиным (он, кстати, как истый автомобилист, подчеркивающий свою принадлежность к водителям, из всей одежды предпочитал кожаную куртку, ехал из Москвы не в автобусе, а на своем «москвиче») через город Саранск, где, как известно, в местном пединституте (теперь это, разумеется, университет) преподавал совершенно легендарный для нас Михаил Михайлович Бахтин.

Мы приехали — и разместились в какой-то гостинице с чрезвычайно пыльными бордовыми шторами, их явно касалась рука человека, но не для того, чтобы почистить. И тут надо было произвести селекцию…

Но сначала скажу, что Турбин и его аспиранты старались облегчить существование Михаилу Михайловичу и Елене Сергеевне, совсем не так давно вытащенным из небытия благодаря усилиям Кожинова,Бочарова, Турбина. Сначала они открыли Бахтина для себя — потом для других, в 1964-м вышло второе (после 1929 года) издание его книги «Проблемы поэтики Достоевского». (Я, чтобы во­очию удостовериться в этом чуде, выписала это первое издание в нашей университетской библиотеке; оно называлось чуть иначе.) Турбин не просто познакомил нас с этой книгой — он методологию семинара основал на ОПОЯЗе и Бахтине. Как бы они друг другу ни противоречили — он их парадоксально объединил.

И вот — пойти к самому Бахтину в гости, домой! Удостовериться не только в книге — в живом авторе! Слишком большое счастье. Да, он и Елена Сергеевна готовы к нашему визиту. Нет, всех он принять не сможет — уж очень нас много, в его маленькую квартирку не поместимся. (Общий вздох разочарования.) Да, будем тянуть жребий. (Из кепки, кажется; бумажки с надписью «да» — «нет»). Нет, мне — не досталось. (Личный вздох разочарования.)

Ну что делать, как говорит моя умная дочь, когда действительно делать — нечего.

Второй раз я не познакомилась с Бахтиным и его женой, когда семинари­сты опять собрались и поехали к ним в подмосковный пансионат-интернат, правильнее — дом престарелых.

Осень или весна, долго добирались, приехали, — а Бахтин плохо себя почувствовал, и никто, кроме Турбина, коротко повидать его не смог. Мы ждали на лавочке.

И я совсем и навсегда поняла, что, может быть, и не надо стремиться к впечатлениям и личному знакомству: изданы книги, и этого должно быть достаточно.

Если понимаешь, с какой величиной ты имеешь дело.

***43.***

А теперь — немножко самокритики.

Критика и самокритика, как утверждал товарищ Сталин, — движущая сила нашего общества.

Любят ли в редакциях своих известных и постоянных авторов? Как нынче говорят, — эксклюзивных? Редакторы частенько надуваются от неоправданного самомнения при известии, что, мол, такой-то скоро к нам пожалует с новой рукописью. И даже поджимают губы.

Редакторство вообще, скажу я между нами, слегка развращает, — как всякая власть. Автор здесь, после того как принес рукопись и ее приняли, лицо подчиненное — он, трепетный, и его уникальное творение теперь — в руках профессионала, который может его месить, лепить, что-то предлагая. Вообще как-то *поступать*. Проникновенных чувств, одобрений, ком­плиментов здесь ждать неоткуда. Ваша рукопись принята — это, считается в редакции, первый и последний комплимент.

Вспоминаю Эмилию Александровну, секретаря секции критики, — в старом советском Союзе писателей, в его московском отделении. Она сидела в комнате критики над дубовым залом, где днем и вечером шумел ресторан, — и расположена эта комната была бок о бок с сортиром унисекс. Эмилию Александровну, маленькую, худенькую, в чем душа держалась, и очень доброжелательную, отличала печать вечной скорби, лежащая на ее востроносом личике. Критики подшучивали над ее реакцией, пародируя ее: ой, Булат, у тебя вышла новая книга, какой ужас…

Вот примерно такое выражение лиц бывает у нас, у редакторов.

А еще бывает качество: неприязнь к знаменитым.

Ну сейчас уж я залезу в психологические глубины.

Не стоит.

***44.***

Конец 90-х.

Должны были лететь в Америку — Тимур Кибиров, Лев Рубинштейн, Дмитрий Александрович Пригов и я. Организовал конференцию, на которую нас позвали, социолог Дмитрий Шалин, университет Лас-Вегаса.

Если кто-то думает, что Лас-Вегас — это только казино плюс все сопутствующее играм, то он ошибается. Это еще и большой университет. Но об этом позже.

Вылет из «Шереметьева» задерживался. И задержался — в результате — часов на шесть. И все эти шесть часов мы провели в одном из шереметьевских кафе пластмассового типа. Наверное, время должно было тянуться томительно — так бы написал, пользуясь готовым штампом, присяжный литератор. Но самое интересное, что оно *не* тянулось томительно — потому что мои спутники «роняли» («давай ронять слова») байки одну за другой.

Дело не только в байках.

Когда рядом Дмитрий Александрович Пригов, можно быть готовым к не­ожиданному повороту и к тому, что называется словом «перформанс».

Даже когда он вроде бы делает вполне серьезное сообщение или более того — доклад. Или когда он что-то говорит за столом в кофейне.

Он и умер, перегрузив организм из-за перформанса — летом, в жару, поднимал шкаф (или его поднимали в шкафу?) на шестой этаж, что-то при этом изображая.

А потом упал в метро.

Пример в сторону. В Москве в Институте культурологии (не знаю, существует ли он сегодня), в небольшом старинном здании на Берсеневской набережной проходит нечто вроде чтений — «круглого стола», — посвященных постсоветскому искусству в лице постмодернизма. И реальный, действующий постмодернист приглашен (в качестве слона) — это Дмитрий Александрович Пригов.

Все, в том числе и Пригов, постепенно собираются — здороваются, переходят в зал для заседаний. Пригов незаметно исчезает. Все сидят. И вдруг он входит со своей фирменной улыбкой и… со знаменем института в руках! Где он его нашел — тайна. Это и было началом — и первым выступлением «докладчика».

А когда мы ждали вылета, а потом летели, Пригов, не теряя времени, рисовал, чертил шариковой ручкой на листе формата А 4.

Когда я прохожу мимо памятника Сергею Михалкову (бронзовый автор гимна сидит на бронзовой скамейке в скверике между своим подъездом и старым Домом кино на Поварской, а бронзовая пионерка, приветствуя его, несет ему букет, — сыновья или Союз писателей взяли на себя добавление свежих цветов), то всегда воображаю, какой перформанс устроил бы бронзовому Сергею Владимировичу живой Дмитрий Александрович. Но он ушел раньше Михалкова. Бронзового памятника ему нет, в пышном ХХС его, как коммуниста Михалкова, не отпевали, — с ним прощались в маленьком храме при Третьяковской галерее. Правда, под чудотворной иконой XII века, иконой Владимирской богоматери. И это правильно.

***45.***

Конференция «Культура-2» проходила в университете Лас-Вегаса.

Еще когда подлетаешь, спускаясь над Лас-Вегасом (а я летела поздно вечером), видишь море огней — в черной-черной пустыне. Сияющий город — столица игорного бизнеса. Это понимаешь, когда из самолета идешь сквозь аэропорт, сплошь уставленный разноцветно подмигивающими игровыми автоматами.

Кстати, на конференцию приехали Борис Парамонов, Владимир Паперно, Петр Вайль, Александр Генис; прилетела и Алла Латынина — и мы с ней отправились (в перерыве конференции) поиграть. Однорукий бандит был суров ко мне — милостив к моей коллеге. Ну что ж, значит, мне повезет в любви.

Жить нас определили в одну из гостиниц города — разумеется, внизу, на весь громадный первый этаж — казино. Автоматы (рядом с ними — американцы ниже среднего класса, это видно; ищут счастья? развлекаются?). А еще — карточные столы с девушками-крупье.

Пройти к лифтам, чтобы подняться в номер, можно только через эти бесконечные игровые холлы, перетекающие один в другой.

Номера здесь неожиданно недорогие: 30–40 долларов за ночь. И буфеты — с недорогой едой. Пожалуйста! Тратьте ваши денежки только на игру!

При заселении получается, что номер на одного не оплачен — только на двоих.

И меня «заселяют» с тоже прибывшей на конференцию дамой.

Вечер. Мы перекусили в дешевом буфете салатами, нарезанными еще утром, и отправились по номерам. А дама ушла. Испарилась.

Английским она владела, по моим впечатлениям, весьма приблизительно.

Ее не было до семи утра — я не знала, что и думать, и, конечно, от страха за нее — в абсолютно чужом городе — глаз не сомкнула.

Когда она появилась и я обрадовалась тому, что она жива-здорова, — она, характерно прищурившись, спросила: а что вы, собственно, так волновались? Я свободный человек и не обязана никого предупреждать.

Вот такая она, правозащитница и общественный активист.

***46.***

И еще о впечатлениях — от студенческой фольклорной экспедиции.

Деревни летом, чем дальше на север, тем красивее — огромные бревенчатые двухэтажные дома, да еще и с подклетью. Жилое помещение — амбар — помещение (зимнее) для домашнего скота — все под одной крышей. Дома изысканного серебристого цвета, таким становится с годами неокрашенное дерево, будь то сруб или доска.

Именно в тех местах отбывал свою ссылку Иосиф Бродский. А сейчас местные энтузиасты откупили там, в Норенской, избушку, чтобы соорудить там экспозицию. Например, сохранились воспоминания тракториста, который возил Бродского в район. Или воспоминания тех, с кем он работал — скотником. Самые благожелательные. Старики и старухи умирают, и постепенно Бродский становится местным мифологическим героем. Так один фольклор приходит на смену другому, тому, который целое столетие выветривался.

***47.***

Испытываю особые чувства, когда говорят о Соловках или Кижах как о туристических объектах. Я побывала на Соловках тогда, когда никаким массовым туризмом не пахло — и все оставалось в своем натуральном виде. Хотя уже шли реставрационные работы, монастырские стены и башни, сложенные из валунов, укрепляли и подкрашивали. На Соловках вместо крестов собор и колокольня были украшены звездами из колючей проволоки, это производило сильнейшее впечатление. Внутри — огромный монастырский двор.

Там, на Соловках, навсегда остался мой прадед, Алексей Яковлевич Калугин. Он уже был совсем болен (сердце), и в 1934-м его «сактировали», за ним приехал сын, мой дед. Прадеду сообщили за «трапезой», — у него выпала из руки ложка, и он скончался мгновенно.

Для турбазы, куда селили приезжих, были приспособлены монастырские кельи. А в конце огромных каменных коридоров стояли печи — там можно было готовить еду, я жарила белые грибы, которых в окрестностях было невероятное количество.

Летом — а я была в июле-августе — там очень красиво и тепло, даже жарко. Но море ледяное, и ветер с него ледяной. Зато по монастырским каналам плывешь в лодке — как в какой-нибудь венецианской гондоле.

Теперь там бурная экскурсионная жизнь. Разумеется, восстановлены кресты. Проложены туристические маршруты.

Но лучше бы оставить звезды из проволоки — чтобы помнили.

А на Кижах тоже еще туристов не было, кроме диких. Наезжали, как и на Соловки, молодые художники (и я с ними попала в те места), жили на дебаркадере, спали под плеск озерной волны.

Потом все это вошло в моду. С одной стороны, хорошо, замечательно (сохраняют и реставрируют памятники), с другой — чего-то жаль. Дикости, наверное. Запаха озерной воды и сухой травы. Одиночества.

***48.***

Вернулась с премьеры театра Фоменко «Современная идиллия» по Салтыкову-Щедрину в растрепанных чувствах. Спектакль полон аллюзий, от «болота» и «либералов» до властей и тайной полиции. Главный герой — распространяющийся страх, который подавляет присущий человеку стыд, лишь изредка, уколами совести, о себе напоминающий (здесь режиссер, Евгений Каменькович, реализует метафору). И все бы к месту, и все удачно, изобретательно. Но вот не оставляет мысль — это мы опять возвращаемся к аллюзийному политическому театру, эзопову языку, искусству шифра и намека, взаимной договоренности со зрителем? Но я не знаю, так ли он договороспособен, как был в 70-е! Так ли он способен с лету ловить аллюзии и ассоциации! В толпе театрального разъезда слышу реплику: «Я ничего не понял, но мне очень понравилось».

Нет, дважды в одну реку не вступить. Время поменялось — а с ним исчез и тот зритель, который прекрасно знал классику и жадно ловил намеки.

Теперь, после двух с лишним десятилетий прямой речи в искусстве, вряд ли получится опять приучить зрителя к разгадыванию метафор. Искусство дешифровки не передается по наследству. Публика в зале была молодая, не премьерная (а где она вообще? не исчерпывается ли в Москве сотней-другой человек?). Ей нравятся всякие гэги, ей нравится гротеск, цирк: на коньках как ловко катаются! А только что — по воде ходили в сапогах! И до кого дойдет: то было болото, а нынче совсем подморозило. Думать надо… а надо ли новому зрителю думать? Вот в чем вопрос.

А классика — она всегда пластична, всегда уместна, всегда готова ответить мысли режиссера. Бедная богатая наша классика. На все времена — и те, в которые сочинял Салтыков-Щедрин, и те, в которых Глумов и его приятели-либералы заговорили голосами Гафта и Кваши («Годить надо. Надо годить» в современниковском спектакле), — и на наши времена ее хватило.

Несчастны новые авторы пьес, новые драматурги…

Вспоминаю бессмертную тетушку Ивана Васильевича из «Театрального романа» — а зачем нам новые пьесы? Мы против властей не бунтуем. Нам и старых — играть не переиграть…

Нет, для бунта против властей русская классика всегда уместна. К счастью или к сожалению, но у нее срока годности нет.

***49.***

Мне в жизни повезло — у меня был мастер.

Трудно вообразить, куда бы что поехало в моей жизни, если бы не Владимир Николаевич Турбин.

Дело даже не в том, насколько он сам был талантлив.

Может быть, он был скорее остро оригинален (завирален), чем просто талантлив. И всегда предлагал: давайте подумаем в порядке бреда… И начинали соображать.

Но главное, чем он был исключительно одарен как личность — тем, что во­круг него возникало ферментирующее начало. Что-то особое. Особый дух начинал объединять студентов и аспирантов. Ну не Лермонтов же в самом деле. Хотя Лермонтов для меня с того времени и навсегда — особый знак студенческой юности и брожения. Прекрасной несмотря ни на что.

А сегодня?

Ферментирующее начало, конечно, объединило участников и театральной студии Женовача. А до них — Петра Наумовича Фоменко, а еще и студентов Льва Додина. Только так и вырастает настоящее единство — и дай им всем театральный бог продолжительной жизни и прекрасного будущего.

И на каждом таком театре стоит печать мастера. И актеры в таких, возникших путем ферментирования, театрах — разные, разных школ, хотя и современники, и даже из одного поколения.

Путем ферментирования возникла в свое время и редакция журнала «Новый мир». А ведь там назначались и менялись поочередно главные редакторы — Симонов, потом Твардовский, потом вернули Симонова, потом опять Твардовский… и редакция все равно с первого пришествия Симонова и до конца оставалась сплоченной (коллектив почти единомышленников), несмотря на отдельные вкрапления вроде Александра Кривицкого, автора разоблаченной В. Кардиным (статья «Легенды и факты» в 1966-м, в «Новом мире» Твардовского) легенды о 28 гвардейцах-панфиловцах, вокруг которой сегодня, в условиях оже­сточения военно-патриотической пропаганды, с новой силой развернулась истерика, вплоть до криков с пеной у рта — убрать Сергея Владимировича Мироненко с поста директора Росархива!

Симонов был с Кривицким дружен еще со времени «Красной звезды» военных лет и дважды приглашал его в свои замы (Кривицкий работал с ним в журнале в 1946–1950 и 1954–1958 годах). Лидия КорнеевнаЧуковская в своих дневниках «Полгода в “Новом мире”» назвала Кривицкого мерзавцем.

Конец сороковых — время борьбы с космополитизмом, читай — с «еврей­ским засильем»; Симонов и Фадеев подсчитывают и докладывают наверх количество евреев в составе Союза писателей, а Кривицкий еврей. Зато более чем правоверный исполнитель приказаний власти. Включая тайные.

Существует ли сегодня закон ферментирования, действует ли он, объединяя в новые редакции и издательства единомышленников? В крупных — безусловно нет. В маленьких — безусловно да.

***50.***

Приходила на дачу социологиня, интересовалась, как складывается единство литературного Переделкина. Да никак, в сердцах ответили ей мы — вместе с моим спутником жизни, которого сюда, на дачу в Переделкино, привезли в месячном возрасте. Первопоселенцы умерли, последующие жители… и их уже очень мало осталось. А что сплачивало? Да и сплачивало ли? Был, конечно, страх — все-таки двадцать пять «дачников» или около того «замели» в те самые годы, особенно гу­сто в 37-м. И все-таки тогда ходили друг к другу, разговоры разговаривали, рукописи читали. В 1937–1939-м (удостоверено в письмах) Пастернак ходил зимой к Афиногенову, тот читал ему свои пьесы (хочется мрачно пошутить — пьесу «Страх»). Потом — ходили в гости к Федину, Ивановым, а они, в свою очередь, — к Пастернаку. Фадеев читал у Нилиныхвслух главы из «Молодой гвардии», которую он сочинял здесь, на даче. Главное еще было — разговоры «на ногах», то есть на прогулках. Прогулки — это было ежедневно, ненарушаемый моцион для тела и духа, прогулки совершались непременно с байками, а встречались на дорожках, не договариваясь, — в отличие от церемонных визитов на дачу, обязательно оговариваемых по телефону, а когда его не было, — записочками. Я, помню, еще застала, приезжая навестить Анатолия Наумовича Рыбакова, эти прогулки; да и сама в них участвовала.

Теперь это ушло, как и многое другое.

«Слова все сказаны…»

***51.***

Самым таинственным местом в Ленинской библиотеке был спецхран.

Сейчас надо долго объяснять, что это было такое.

Или — недолго, вкратце: хранилище книг, для чтения которых требовалось отдельное разрешение, *допуск*.

*Допуск* можно было получить (или не получить) только через письменное обращение организации, в моем случае — факультета. Где четко была прописана тема. На бланке, с гербовой печатью.

*Допуск* получен — но никаких вольностей не позволяет, свободы поиска не гарантирует.

Например: в теме моей кандидатской (над которой и полагалось мне работать) были Достоевский и литературная критика США (то, что у американских славистов называется *literary criticism*. Я могла — в принципе — выписать себе для чтения в отдельном читальном зале (тоже — специальном, на последнем, пятом этаже, куда поднимались только по специальной необходимости) литературоведческие английские и американские исследования о Достоевском. Но как мне догадаться, что€ выписывать? Каталог (свой) там был, но тоже — особенный. Не систематический. Алфавитный. А имена и фамилии я, разумеется, еще не знала!

Приходилось догадываться. Или — штудировать литературоведческие журналы, где искать статьи о Достоевском и по сноскам уже определять авторов и названия статей и книг.

Но я осторожно пробовала пальчиками температуру воды: выписывала что-то, как говорится, наобум Лазаря. Методом тыка. Так я выписала себе Набокова — и вместо названия указала «О Достоевском». Мне устроили фирменный допрос с пристрастием: зачем да почему. И заключили: к теме вашей работы Набоков не имеет никакого отношения…

Хорошо хоть, не лишили «допуска».

Вот еще что было важно: скосить глаза на то, что выписал сосед по читальному залу. И попробовать выписать, например, эмигрантский журнал «Современные записки». Иногда — получалось.

Или еще один метод: тупо рыться в каталоге. А вдруг на что-нибудь и наткнешься — и попытаешься получить для ознакомления.

Вот такие были времена.

На пятый этаж вела жутко скрипучая деревянная лестница, очень даже пожароопасная. И на само€м пятом этаже чудовищно скрипел паркет. Каждый твой шаг был слышен — народу на пятом этаже бывало очень мало, в отличие от кипучей жизни первого (со знаменитой курилкой) и второго (с каталогом и балюстрадой, где все прогуливались).

А на пятом — тишина.

Только пол скрипит.

***52.***

О европейской честности.

Поездки в Европу, даже в Париж, — типа литературно-командировочных, — не то что входили в рутину, но постепенно становились привычными.

Не событие.

Вроде как командировка — и командировка.

Ну поехали.

Ну в Париж.

Вот так мы — Владимир Маканин, Александр Иличевский, Евгений Ермолин и я, все это придумавшая, — отправились в Париж в 2010 году. Я придумала связать Сорбонну, ее студентов, с современными писателями через Антона Павловича Чехова. У него большой юбилей, 150 лет со дня рождения, — и почему бы не провести «круглый стол» и семинар, тем более — с участием писателей и критиков, которые расскажут о себе — через Чехова?

Так я и поступила. Написала «проект проекта», получила на него грант, договорилась с Сорбонной — в лице профессора Лоры Трубецкой, которую я знала по другим встречам и конференциям; помню и ее покойного мужа, лингви­ста Владимира Трубецкого, потомка знаменитых Трубецких, тогда, *при нем*, Лора была полна жизни и красоты, а теперь от ее видимого невооруженным глазом одиночества сжимается сердце.И организовала наше парижское путешествие. Только критик Евгений Ермолин был в Париже впервые — остальные уже, и не раз; и Ермолин раньше всех поднимался и позже всех шел спать, и обега€л Париж, по-моему, каждый день.

…И вот мы уже отвыступали в Институте славистики — рядом с привезенным нами в подарок портретом Чехова… и идем в кафе — отметить наш «круглый стол».

И тут выясняется, что у меня исчез бумажник. Где карточки, деньги, какие-то даже документы.

С помощью находчивого и самого опытного среди нас Саши Иличевского, не раздумывая, блокирую карту.

Возвращаемся пешком по бульвару Сан-Мишель, мимо кафе «Люксембург», где мы сидели днем, перед выступлением. И еще пытались заказать такси — у Маканина устали ноги. А вдруг? Захожу — радостной улыбкой встречает меня официант, ведет к бару, а там — бармен достает откуда-то снизу мой бумажник. Со всеми деньгами и карточками.

Вот она, настоящая европейская честность.

А карточки в Москве пришлось делать заново.

***53.***

Мы думаем, что знаем, — а на самом деле…

Я действительно самонадеянно думала, что знаю.

Первый раз в жизни я поехала в Питер в литературной роли на литературную встречу. Это было где-то в середине 70-х. Встречу организовало Ленинградское отделение Союза писателей, она была посвящена теме: существует ли различие между ленинградской и московской литературами, и если существует, то какое?

От Москвы поехали критик Владимир Новиков и я. От Питера было много кого — я запомнила тогдашних Андрея Арьева и Александра Рубашкина.

Сама постановка вопроса мне казалась неправильной. На мой взгляд, сущест­вовала плохая — и хорошая литература. Это было главным, базовым отличием — качество стихов или прозы. Все остальное, я думала, от лукавого. Все вторично — прописка и происхождение автора, его пол или возраст.

И я азартно свою позицию заявляла. И аргументировала — с присущим мне тогда пылом и задором.

Обсуждение этого странного по тем временам, абсолютно безыдейного во­проса проходило в том самом, знаменитом, красивейшем дворце — Доме писателей на улице Воинова. На углу набережной. Все было цело — и поражало своей красотой и гармоничностью, которую могли испортить (и портили) только находившиеся внутри отдельные малосимпатичные личности. Гостиные. Залы. Лепнина. Старинная мебель, обитая красным штофом. Шелковые занавеси на окнах. Чудесный цвет стен. Дивные лестницы. Даже помещение гардеробной было заполнено шкафами черного резного дерева.

Ну и самое главное — невероятный вид через блистающую Неву, вид на Петропавловскую крепость. А окна были цельного стекла (венециан­ские), и по ним еще шла красивейшая чугунная решетка. (Все это потом, в перестройку, уничтожил страшный пожар — шла война за недвижимость, которая уж никак не полагалась питерским писателям.)

Повторяю: я не знала тогда стихов Бродского, не знала его судьбы, не была знакома с полузадушенной и задушенной питерской словесностью.

Но глаза мои споткнулись об этот вид — и этот вид, и этот город я приняла так, как до этого никакое другое место на земле: как невероятный.

Флоренция и Венеция, Рим и Иерусалим, Париж и Нью-Йорк были потом.

А Питер — тогда и навсегда. Для чего он мне так был показан? Для того, чтобы глупость, порожденная незнанием, заткнулась. Ведь незнание законов не освобождает, как известно, от ответственности.

Законов и обстоятельств — исторических и литературных.

Потом — другое.

На дворе совсем иное время, юбилей Пушкина, пышное празднование 200-летия со дня рождения, о котором я уже написала. Среди приехавших на торжества — Ефим Григорьевич Эткинд. Он читает лекцию о стихе первой трети XIX века, лекция имеет быть в Малом зале Филармонии, что на Невском. Малый зал — на самом деле это очень большой зал дворца Энгельгардта, замечательно украшенный, высокий, с зеркалами и лепниной, весь бело-золотой. Для питерцев это почти обыкновенно, у них все события происходят во дворцах — и таких пышных дворцов много. Здесь, в этом зале, происходили (в 20-е годы XIX века) знаменитые маскарады — один из них дал жизнь «Маскараду» Лермонтова. Здесь же на балах блистала Наталья Николаевна, на маскарады приезжали и великие княжны.

Эткинд, говоря о стихосложении, об архитектонике стиха, прежде всего пушкинского (и его плеяды), открывает взору архитектуру Петербурга, ее стройности соответствует стройность и строгость поэтики Пушкина.

И не только.

Вот она, откуда есть пошла разница…

И еще у Александра Семеновича Кушнера — про Растрелли и Росси.

***54.***

Петербург — город небольшой, миллионов эдак на пять, в сравнении с Моск­вой он примерно как Париж. И самое приятное — передвигаться по нему пешком, — если, конечно, погода позволяет. Иду поНевскому — и обязательно кого-нибудь из знакомых встречу, иначе не бывает. Вот встретила в этот приезд Валерия Попова. А в прошлый? И в прошлый Валерия Попова встретила. Чудо, да и только. Ну я же говорю — город небольшой, — я о центре, конечно, — обязательно кого-нибудь встретишь.

У нас в Москве в центре — Кремль. Туда идти ни за чем не надо, и там никого не встретишь. А у них?

У них в центре — центр. Где все быстро идут (см. «Невский проспект» Гоголя) или медленно прохаживаются, как будто себя показывают и на других искоса смотрят. С интересом. У них в центре — Дом книги (Зингера), и с моего любимого места в здешнем кафе (на втором этаже) из огромного окна в стиле модерн можно лицезреть и Невский с его переходами, где стремительно перемещаются потоки людей, и Казанский собор с чудотворной иконой внутри, и канал Грибоедова… пить кофе и листать новые книги.

А внизу, вижу, опять идет Валерий Попов.

***55.***

В Страсбурге я была еще раз в конце 80-х — для выступления в Европарламенте сюда заехала (из Парижа) целая писательская команда, включая Григория Горина, Виктора Славкина, Людмилу Петрушевскую; там же к нам присоединились Синявский с Марьей Васильевной.

Тема выступления всего разношерстного коллектива была одна: что меняется в России.

Дело происходит в том самом зале, где и сейчас заседает Европарламент. Мы в президиуме. Нас внимательно и недоверчиво слушают. Мы говорим, как будто перед казнью, последнее слово, темпераментно и, как нам кажется, увлекательно. Рассказываем эйфорически — и чувствуем эту эйфорию в себе как что-то сверхреальное — о всяческих переменах в нашей, еще советской, жизни, литературной в том числе. После выступления коллективная Шахерезада отправляется ужинать. Потом в дорогой, комфортабельный отель — на отдых после трудов праведных.

И кажется, что теперь так будет всегда.

***56.***

У литераторов сегодня жизнь идет по расписанию. По круглогодичному премиальному расписанию, регулярному. Пробежимся по нему, по этой «литературной ветке» и часам отправления поездов.

После 1 января идут журнальные премии с присуждениями-церемониями в «Знамени» (на старый Новый год) и «Новом мире». (Еще была премия за лучший рассказ года, имени Юрия Казакова, но она приостановлена.)

Потом, к масленице, подбирается премия Ивана Петровича Белкина — она вручается за лучшую повесть года (а до вручения, примерно на Татьянин день, объявляется короткий список, но тоже в обстановкепресс-завтрака).

К весне — торжественное объявление нового лауреата премии «Поэт», а также шорт-лист русско-итальянской поэтической премии «Белла».

В мае — церемония вручения «Беллы» и «Поэта». Летом? Летом тоже что-то вручается, не помню, но книжный фестиваль проходил точно в середине июня.

В конце мая объявляется шорт-лист «Большой книги».

В начале июля — конец и перерыв; объявляется лонг-лист «Букера».

В сентябре определяются лауреаты «Ясной Поляны», теперь по двум номинациям.

К осени — вручение «шагающего человека», как все обшучивают бронзовую фигурку премии «Книга года» (га-го, но это никого не смущает, — у писателей нынче плохо со слухом). «Книга года» вручается в связи с осенней ярмаркой. А тут уже близится знаменитая «Non fiction». Она сама по себе — премия всем нам, и участникам, и читателям… Рядом — объявление «Большой книги». А вот и «Русский Букер» подоспел (в начале декабря) — значит, скоро Новый год, и премиальное колесо закрутится сначала.

И ведь на каждую премию надо кого-то и что-то выдвинуть. Это значит — сначала напечатать! Вот что важно. Зачем мы публикуем романы? Чтоб было что заявить на «Большую книгу» и «Букера»… Шутка, но в каждой шутке, и в этой тоже, есть доля правды.

Иногда это — большая доля.

***57.***

Мы с Катей, Екатериной Юрьевной Гениевой, встретились в самолете — летим в Нью-Йорк, только я по одному, университетскому, поводу-приглашению, а она по другому — на очередную встречу с Джорджем Соросом, который тогда, в начале 90-х, помогал (и помог) толстым литературным журналам. А Катя возглавляла московское отделение его фонда, занималась всеми программами. Программы осуществляли скорую помощь. Если бы этой скорой помощи не было, не знаю, как пережили бы этот тяжелый в материаль­ном отношении период журналы — и в том числе многие из моих коллег, получавшие (и неоднократно) гранты на свои работы. (Я для себя грантов никогда не получала — почему-то не предлагали, да и сама не обращалась.) Самым важным для изданий нашего типа — кроме «Знамени», «Нового мира», «Дружбы народов», в список еще десяток названий — был простой и остроумный, придуманный Григорием Яковлевичем Баклановым, который был членом наблюдательного совета фонда, механизм — фонд Сороса заказывал и выкупал у журналов часть тиража и за свой счет распространял по библиотекам России. Таким образом за одну сумму (немаленькую), но разом помощь оказывалась: 1) библиотекам, 2) редакциям журналов, 3) писателям, авторам, которым выплачивались из тех же денег гонорары.

Со временем количество библиотек ужималось — но все-таки… Надо сказать, что после конца этой программы фонда Сороса никто, никакие отечественные фонды, никакие государственные структуры этот прекрасно отработанный механизм не подхватили. Но это я уже залезла в будущее.

А пока — мы с Катей летим над Атлантическим океаном и обсуждаем наши «знаменские» премии — их получают авторы журнала на празднике, который «Знамя» каждый старый Новый год проводит в Овальном зале ВГБИЛ (а ВГБИЛ под Катиным руководством двадцать лет подряд одаряла лауреатов премией «Глобус» — за утверждение ценностей открытого общества).

И, разумеется, добрым словом поминаем Джорджа Сороса. Постой, говорю я, а почему мы ему никогда не говорим спасибо? И тут, в полете, рождается идея: сделать для него «сюрпризную премию», подарить ему что-нибудь! Порадовать его — и церемонией, и открытой благодарностью.

Катя берется доставить его на наш праздник — подгадать с датой его «зимнего» визита.

Что подарить филантропу-миллиардеру — тяжелый вопрос.

Мы покупаем палехскую шкатулку.

Катя приводит Сороса на наш праздник. Он радуется подарку.

А когда он уезжает, шкатулка оставлена на стуле — его окружили кольцом по окончании праздника. И по словам той же Кати, он чуть ли не рыдает, обнаружив пропажу.

Шкатулку доставляют ему в гостиницу, драматическая ситуация разрешилась.

Это была единственная благодарность — за все про все.

Сегодня книги, выпущенные на грант фонда, из библиотек начали изымать — а там ведь и огню предадут: куда ж их прятать, книги английских историков? Так страна может скатиться (и скатывается) к нравам Германии 30-х годов. Может, и подшивки журналов наших с благодарностью фонду изъять?..

Но мы с Гениевой еще тогда решили: надо чаще летать вместе на дальние расстояния, будет время для размышлений если не о подарках (о них думать всегда приятно), то о всегда необходимой некоммерческим изданиям и не приносящим дохода библиотекам скорой помощи.

Только вот где взять нового (коллективного хотя бы) Сороса?

И Екатерины Юрьевны Гениевой, дорогой Кати, с нами уже нет...

***58.***

…А самой Кате мы ничего и не подарили!

Она так сияла, делая сюрпризы другим, что и в голову не могло придти — сделать подарок ей.

Очень трудно, если вообще — не невозможно, написать «всё о Кате». Но — чуть-чуть, из последнего.

Последний раз вместе мы были в Израиле, в Тель-Авиве и вокруг. Катя уже тяжело болела, но она не была бы Екатериной Юрьевной Гениевой, если бы не повернула личную ситуацию к пользе общекультурного дела.

Поскольку врачи приговорили ее к химиотерапии, потом к операции, потом опять к химии (или «лучу»), а сеансы она проходила в тель-авивской клинике, то она не могла не придумать и не осуществить (а Катя всегда осуществляла — задуманное на лету волшебным образом превращалось в реальность) новый проект, объединяющий «российское», «филологическое» и местное — израильское: три компонента.

Использовала открывшиеся ей «благодаря» болезни новые возможности…

Она предложила израильской стороне (Тель-Авивскому университету, мэрии города Натания, поселку-резиденции художников-ремесленников Эйн Ход) и российской стороне (посольство РФ в Израиле иРоссотрудничество) целую программу — с участием в работе университетской конференции, посвященной русскому языку в Израиле и современной русскоязычной израильской и русской/россий­ской литературе; с фестивалем-ярмаркой искусств и ремесел Ивановской области (а там «прописаны» не только знаменитый Палех, но и великолепный шуйский лен и ювелирные украшения из серебра и эмали) в самом центре курортной Натании и в поселке художников. И это был общий праздник — счастливы были и русско-израильские исполнители стихов, танцев и песен (дети!), и их мамы, веселились местные художники, приходили смотреть на рукодельные чудеса, представленные ивановскими художниками.

А больше всех радовалась Катя.

Она была уже хрупкой, фарфоровой, особенно в шелковом костюме, сшитом ивановской мастерицей, которая, кстати, первая поставила ей диагноз… до всяких докторов. С прелестно обросшей после «луча» мальчишеской головой. Говорились речи, — было жарко, Катя выступала ровно столько, сколько нужно, и сказала о самых сущностных вещах: родстве и культуре понимания.

А как только закончилось официальное открытие, мы с Катей немедленно переместились по соседству: в антикварную лавку.

И там уже…

Это была маленькая Катина страсть.

В Шотландии, в городке Моффат, где ВГБИЛ, то есть та же Катя, придумали и провели Лермонтовские чтения, под уговором Кати я купила в антикварном магазине чудесную литографию начала XIX века. За пять фунтов стерлингов. И винтажную серебряную брошку в виде двух подружек-кошек, переплетенных хвостами (теперь это память о Кате). А здесь, в Натании, что-то мне ничего из украшений не приглянулось, вернее, приглянулось, но раньше меня на эти бирюзовые серьги среагировала Катя.

И вышла из лавки — счастливая!..

Так мало оставалось — и, зная об этом,  так она радовалась всему: и небу, и солнцу, фестивалю, и контактам с дамой-мэром, ухватистой, сильной блондинкой, и за последовавшим мэрским обедом они уже увлеченно обсуждали новый проект…

Екатерина Юрьевна Гениева умела на почти пустом месте учреждать, образовывать новые институции. Мечтания не оставались прожектами, а воплощались.

Полностью — можно ли реализовать этот дар?

Ведь он — из продолжающихся бесконечно.

На прощание в Мраморный зал библиотеки пришло много людей — несколько сот человек, и каждый, думаю, был связан с Катей личной (не только профессиональной) нитью.

Что на сей момент для меня урок этой так быстро прошедшей жизни (а мы были знакомы еще с университетской скамьи, — я увидела Катю впервые поющей в английском хоре филфака)? Это — урок поведения при разных режимах жизни. Оставаться равной самой себе — при всех меняющихся условиях, политических и общественных. Следовать всегда своим убеждениям — используя порой приемы дипломатии. Мягко, но твердо отстаивать свою позицию — даже тогда, когда вокруг — вдруг — все ощеривается, настраивается против.

Радоваться жизни и продолжать делать свое дело.

Несмотря — и вопреки.

***59.***

Наркотическая зависимость: сунуть нос в книгу или журнал, открыть ее/его наугад, может быть, и не там, где ты вчера закрыл; и заново просмотреть — бегло, а то и внимательно, по второму разу — то, что уже видел, читал, с чем знаком. Встретиться утром — после чтения на ночь: хорошо, если в доме еще спят, ты одна, и за первой чашкой чая (а еще если за окном солнце!), вместе с коньячного цвета горячим настоем любимого чая, только что открывшимися после ночного сна/обморока, свежими, ясными глазами, в полной тишине.

И — случайная пауза жизни — в транспорте, в автомобиле, ломая глаза осенними, наползающими сумерками.

И — в кресле, упершись ногами в диван, переворачивать страницу за страницей, без карандаша нельзя, а вдруг? Можно, конечно, отметить ногтем… но это будет неправильно: легкий след мягкого карандаша всегда можно будет снять резинкой. А твердый след ногтя с тонкой бумаги не уйдет. И отпечатается на следующей странице…

Чтение — наркотик. Литература наркотична по определению. И журналы — наркотик. Я не могу равнодушно видеть лежащий на столе свежий номер какого-нибудь ТЛЖ — толстого литературного журнала, — начинаю к нему приближаться, потом — прикасаюсь, открываю, лучше всего с конца, листаю «наоборот»: там, где мелочь литературно-критическая, анонсы и аннотации; потом уже дохожу до рецензий, статей, — и тут переворачиваю и открываю на странице содержания. Происходит сначала какое-то специальное торможение, почти эротическое; я наощупь приближаюсь к тому, что для других, наверное, главное. Мне нужны ощущения, даже тактильные, — свежий номер, выложенный в интернете, на меня такого впечатления не производит.

(Правда, встречаются те, кто эту наркотическую зависимость преодолел. И говорят — вслух, при публике, что для работы, конечно, да, а так — нет. Помните анекдот про грузина, как он относится к помидорам: кушать люблю, а так — нет.) Эта наркотическая зависимость, видимо, прошла у Аллы Латыниной: помню, как в 1987-м она, зайдя на дачу к Нилиным, погладила обложку какого-то журнала, как гладят кошку; сразу застряла на нем взглядом… а сейчас она способна холодно рассуждать, например, о смерти журналов как институции: что, мол, когда-то родилось, тому должно когда-нибудь и умереть. Но одно дело — рассуждать вообще, в принципе, другое — когда твой близкий окажется под капельницей в реанимации, голый, привязанный ремнями к койке, чтобы не упал, когда очнется! Ну да, дoлжно умереть. Но хорошо бы — не при мне.

Есть же счастливые люди, в том числе  литераторы, у которых есть хобби, — они выращивают цветы, собирают кружки, любят ходить по барахолкам; кто-то разводит собак или рыбок, или меняет автомобили, или их постоянно чинит, получая свое удовольствие. Я не читаю только, когда путешествую. Вернее, так: тогда я читаю город, страну, пейзаж, людей в самолете или поезде, загадывая и разгадывая их жизни.

Но если…

**Источник: http://magazines.russ.ru/znamia/2015/10/4i.html**